

# Владимир Гандельсман

фрагменты романа

король лир

миф



Владимир Гандельсман

# Фрагменты романа

\*

## Король Лир

\*

## Миф

«СТЕКЛОГРАФ»  
МОСКВА, 2021

УДК 82-31  
ББК 84стд1-44  
Г19

Гандельсман Владимир  
Г19 Фрагменты романа / Король лир / Миф. –  
М.: Стеклограф, 2021. – 140 с.

ISBN 978-5-981811-53-1

© В. Гандельсман, 2021  
© «Стеклограф», 2021

Ф Р А Г М Е Н Т Ы   Р О М А Н А  
« Т А М   Н А   Н Е Б Е   Д О М »\*

---

\* Роман был начат в 1974 и закончен в 1989 году. Затем он затерялся в моей памяти, и сегодня я могу опубликовать лишь то, что помню: отрывочные строфы из разных глав.

## ИЗ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

\* \* \*

Тот город, по которому бродил,  
выуживал по строчке из сумбура  
и всё равно себя не находил, —

знакомая душе клавиатура.  
Я мог бы перебрать её, изволь...

\* \* \*

Начнём с двора. Мы тоже из дворян  
отечественных и послевоенных.  
Хоть нас крестил, как водится, тиран,

но двор был из дворов благословенных...

.....  
.....

Повсюду дров намокших штабеля,  
коптит, расштукатурясь, кочегарка,  
вокруг неё оттаяла земля.

Прогулка. Голове под шапкой жарко.  
Снег сладко-липкий. Около нуля.  
И дворничиха, старая татарка,

из прачечной несёт мешок белья.  
Её серёжки вспыхивают ярко,  
как вдруг растормошённая зола.

\* \* \*

Колодец детства есть колодец слёз  
артезианских, взятых ниоткуда, —  
на снег, на прозябанье дольных лоз,

на ожиданье ёлочного чуда.  
Глаза ли режет яркость этих мест..  
Ночная тишь. Скользнул в подъезд иуда.

Из чёрного и жёлтого подъезд.  
О, двор мой, привыкающий ночами  
к каплановскому выводу невест

с какими-то печальными плечами,  
с ключицами — навывлачь — два весла,  
с огромными — за тюлевым — очами.

Ночная тишь. Проугленная мгла.  
И фонари с паучьими лучами,  
ползущими по краешку стола.

\* \* \*

Как слово «бытие» заострено  
в последнем слоге! Словно бы иголка.  
В нём «бы» — ушко, открытое окно,

в него продет жасмин, как нитка шёлка,  
или — суровой ниткою — зима  
(весна слюнявит пальцы втихомолку),

в него слетает осень — бахрома  
с периметра хрустального осколка...



\* \* \*

В вечерних сумерках декабрьский сад.  
В нём воздух лягушачьих перепонок,  
в нём дробный переговорень дриад.

Прогулка. Подпоясанный ребёнок  
рассматривает данный препарат  
(из связок лип и мякоти потёмок).

В его зрачках колеблем перепад  
от вещества извне к своим пустотам  
нетронутым, где атомы так спят,

как в нотах нераскрытых спится нотам...

\* \* \*

Рояль кормил полуденную лень  
засахаренным – с ложечки – вареньем,  
на пресыщенье – мерное трень-брень,

как бунинская сыть стихотворенья.  
Язык аккордов, труден и коряв,  
мусолил заскорузные корни

на ниве колосящихся октав.  
Клубилась пыль от форточки до пола,  
в ней, золотые зёрна перебрав,

брела ко сну старуха-баркарولا...

\* \* \*

Благословенье дому. Вопреки  
гитабору годов шестидесятых  
с медвежьими услугами тайги

и бормотаньем бардов бородатых...  
Входных дверей тяжёлые крюки,  
глухое «кто» хозяев виноватых,

на антресолях пыльные тюки...

.....

обои, абажуры, уютюги...

\* \* \*

Благословенье дому и семье  
с тремя детьми, с подпиской на Флобера,  
на Мопассана, Шолохова Мэ,

на авторов «Муму» и «Пионера»,  
на Пушкина, Толстого, Мериме...

\* \* \*

Предновогодний ёлочный базар.  
Игольчатого запаха атака  
на граждан, запрудивших тротуар,

уверенных в могуществе дензнака.  
Над площадью горит янтарный шар  
луны (для Сирано де Бержерака).

А там – людское море, театр, пар,  
разъезд распотрошённых шуб, улыбок,  
расцветок, что сберёг нам антиквар

и бутафор аквариумных рыбок.  
Зелёный пыл. Младенчество. Мороз.  
Готический базар царапнит воздух.

Саней полозья. Шарфа жаркий ворс.  
Открыточное небо. Напрочь – в звёздах...  
Домой, домой, покуда не замёрз!

\* \* \*

Домой, домой, рождаясь на лету.  
Подобинки Иглы Адмиралтейства —  
снежинок иглы, целящих в пяту

влекущему домой отцу семейства —  
от площади по Кировскому — ель.  
Саней полозья. Пыл. Священнодейство.

Благословенье дому. Канитель.  
Липучий ствол. Примерка к крестовине.  
Не ящик, но сверкающий отель

из ёлочных игрушек в серпантине  
(спроваженные в мягкую постель,  
они сидели год на карантине),

и блеск сосул, скрученных, как трель,  
и блеск шаров, как холод в мандарине,  
и в этом блеске вспышка буквы «эль»!

\* \* \*

Смесь запахов, языческий разгул,  
лоснящийся, варёный запах куры,  
духовки синезубой жаркий гул

(шарадофил, привет от синекуры),  
тарелки студня стыннут на окне  
и небо передразнивают, дуры.

Наполеон на медленном огне  
доходит до известного позора,  
чуть подгорев, стать пищей. Клод Моне.

Рассыпчатость Руанского собора...

\* \* \*

Особенная область—рыба фиш,  
её приготовление—эпоха,  
которую не сразу усыпишь.

Ей долго перед этим очень плохо.  
Она под жабры вглатывает тишь  
всё менее пригодную для вдоха.

Уснула. Нет. Всё вздрагивает. Ишь,  
слезливые глаза свои таращит.  
Младенческое горе. Спи, малыш.

Авось—и до утра его растащат.  
Всё выветрится к чёрту до утра.  
Конечно. Да об этом же не плачут.

Не спится, няня. Деточка, пора.  
Что там, на кухне? Господи, судачат,  
или зубрит «Онегина» сестра.



\* \* \*

В лесу родилась ёлочка, в лесу  
она росла, из некоего бора  
с кастрюлями (о, как произнесу?)

шла, ковыляла некая Федора;  
два лодыря, собравшись на урок,  
попали на каток, и в ту же пору

мой дядя не на шутку занемог;  
из маминой из спальни выбегая,  
кричал тот тип, который кривоног;

из некоего северного края  
всё жаждали уехать Чук и Гек,  
но девочка разыскивала Кая—

он для неё был близкий человек,  
и я её немного понимаю,  
из мерзлоты вытаивая век.

\* \* \*

Вот комната. Вот в ней мурлычет март.  
Вот время после пятого урока.  
Вот контурных бескровный ворох карт.

Вот город имярек — двойное око.  
В нём развита промышленность.  
Он порт.  
Вот «о» зевает трижды: одиноко...

\* \* \*

Но этот трепет вровень со флажком,  
со знаменем, что бьётся у подъезда  
в гранитный барельеф с большевиком,

который тоже бьётся в знак протеста,  
увы, с увековеченным врагом —  
застыли оба; намертво; ни с места...

Но этот трепет — как он мне знаком!  
До «Молокосоюза» путь чудесный,  
и сладкий холод, снятый языком

с мороженого — замерший, отвесный,  
и путь назад — в ладошке с пятаком,  
и ветер прохладительный и лестный,

и лестница, где пахнет чердаком,  
распахнутым на крышу, — этот местный,  
но — колорит, которым я влеком.

\* \* \*

Пушнина вербы. Медленный нагрев.  
Дзержинский сад открыт после просушки.  
Медитативный рост его дерев

и зиму пережившие старушки.  
Вдоль по Неве – рубанок катерка,  
и вслед за ним – блистающие стружки,

и над прудом срывается с крючка  
серебряная жизнечка колюшки...

\* \* \*

...Пора на дачу. Где она снята?  
Допустим, в Сестрорецке, или... или...

Нет, в Сестрорецке...

\* \* \*

...Представьте себе утро, всю в свету  
веранду, рукомойника позвяки,  
круженье ос над клевером в саду,

потягиванье сладкое собаки,  
и облаков летучую грядку,  
и в двух шагах алеющие маки...

\* \* \*

Вечерний час, овейанный теплом.  
Что для романа август нам подарит?  
Для этого достаточно пешком

пройтись вдоль дач: в тазах варенье варят,  
снимают пенку розовую тень  
и на язык берут её, базарят,

не густо ли, убавлен ли огонь,  
развешивают простыни, рубашки,  
зовут сопливых Павликов и Лёнь,

им — вымыться и спать...

\* \* \*

Как хорошо в посёлке по ночам!  
Как поздний час раскрепощён и чуток,  
когда остывший просмолённый чан

зачерпывает половину суток  
и оживает известковый клан  
любезных Заболоцкому малюток!..



\* \* \*

Я возвращаюсь в город. Для того  
со мной взросло вместе время года,  
чтоб я вернее чувствовал его

спокойную и умную природу.  
Мне как бы на прощанье причинён  
Крестовский остров, взятый в непогоду,

хоть он не по пути и ни при чём.  
Там будка милицейская, прохожий  
с какою-то котомкой за плечом,

на грусть мою грядущую похожий,  
вот улица Чапыгина, и дом,  
и двор, и мой подъезд, и я в прихожей,

где каждый гвоздь (программы) мне знаком..  
Сентиментальность. Надо было строже  
рассказывать. И просто о другом.

## ИЗ ВТОРОЙ ГЛАВЫ

\* \* \*

Я вижу коммунальный коридор,  
столь свойственный годам пятидесятым,  
с клетушками для жизней...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...Помнится, был светел  
просторный зал внизу... Какой-то пыл..  
(Я этот дом в музейном виде встретил..)

В том доме, на исходе славных сил,  
старик Державин мальчика заметил  
и, в гроб сходя, его благословил.

\* \* \*

То был Лицей. Тогда ещё росли  
в аллеях за Дворцом большие липы,  
и с запахом сыреющей земли

входили в окна медленные скрипы.  
Вы там не раз гуляли и могли  
осенних крон блистающие кипы

вдыхать и слышать...

\* \* \*

Дитя было задумчиво. Окно,  
затрёпанная кукла, у которой  
одна рука оторвана давно, —

предметы обихода. Там, у шторы,  
сидела девочка не шевелясь  
часами, от игры или от ссоры

детей не отводя глубоких глаз.  
Её глаза, казалось, отражали  
не этот мир, не этот день и час,

но тёмный свет дожизненной печали,  
ту память, не имеющую слов  
иль образов — имеющую дали,

в которые мы смотрим после снов.  
Увы, здесь ни единой нет детали  
из тех, что *там* проникли в нашу кровь.

\* \* \*

Но внешний мир ей не был дан как мир,  
в котором, равноправный соучастник,  
ты есть один из призванных на пир

и должен потрафлять тому, чтоб праздник  
стал праздником лукавства. Вот кумир:  
лукавое соперничество имя

ему. Но тем, кто смотрит из окна,  
кому игра страшна, непредставима,  
тому и жизнь запомниться должна

как ужас немоты, как пантомима:  
возня в снежки, катание с горы,  
солдатики, мячи, велосипеды,

и малые хозяева мур,   
творящие потом большие беды  
по всем законам детства и игры.

\* \* \*

Она любила раннею весной  
из форточки синеюще открытой  
вдыхать холодный воздух земляной,

оттаявший, дрожащий, даровитый,  
столь созданный для быстрых птичьих тел,  
к их оперенью влажному привитый...

\* \* \*

Дыханье лестниц каменное, мрак,  
щербатый коллизей кошачьих козней,  
мерцанье лужиц, сырость, аммиак,

и тень твоя, отброшенная грозно  
на стену... Одинокая душа  
к игре теней относится серьёзно...

\* \* \*

Случается, какой-нибудь листок  
невзрачный, или запах, или шорох  
пронизывают с головы до ног,

и вспыхивает память, точно порох —  
так замкнутую цепь пронзает ток —  
всё это было! В жёлтых коридорах

иль светло-серых кухнях замирать  
вам доводилось? В тайные глубины  
вам доводилось исподволь смотреть,

задёргивая в комнате гардины,  
когда внезапно, видимый на треть  
осенний двор, и форум голубиный,

и с дерева слетающая смерть —  
без промаха выстреливают в спину?  
Ещё мгновение — и начнёт темнеть.



\* \* \*

Быть может, одиночества часы,  
что чудом выпадали на рассвете  
(подобно каплям утренней росы),

просвечивая, к призрачной примете,  
уже *сегодня* явленной, припав,  
пожизненно преследуют нас, эти

мгновения раскручивают явь  
таинственной и чистой спиралью  
и тотчас исчезают, просяив

и новой наделив её деталью...

\* \* \*

...особенно в ту пору,  
когда на мёртвой точке календарь

осенний замирал, когда простору  
ещё не шли на смену мгла и хмарь,  
и солнца луч ещё мирволил сору

листвы — затишья мёртвый государь.  
В предзимние часы, когда на двери  
и зеркало ложилась синева

из гамсуновских, может быть, мистерий,  
тот холодок со сдвигом, те слова...

\* \* \*

Скорее в декабре, чем в ноябре,  
она заболела регулярной  
(я вспоминаю мальчика в Комбре)

ангиною (а вы?) фолликулярной.  
(Я тоже просыпался на заре  
с божественною слабостью в суставах

и с равнодушьем к жизненной игре...)

\* \* \*

...Но вот блеснёт змеиным телом ртуть  
в продолговатом градуснике – стоит  
его на свет немного повернуть –

и жар сильней томит и беспокоит,  
и к полдню начинаешь в нём тонуть,  
и к вечеру всего тебя накроет

тяжёлый жар, и гаснет снежный путь,  
и новые ходы виденье роет,  
и лес горит, и в нём не продохнуть...

\* \* \*

Пока ты втянут в огненный процесс  
болезни с тошнотворной круговертью,  
пока на горле камфорный компресс

топорщится и пахнет тёплой смертью,  
и чья-нибудь рука берёт твой пульс,  
и кашель оркестровой пышет медью,

и полосканья содового вкус  
ребристое запоминает нёбо,  
и свет, как блеск рассыпавшихся бус,

перед глазами скачет, и хвороба  
распластывает плоть, из ломоты  
её не выпуская и озноба,

пока лежишь в забывчивости ты, —  
душа отстранена и, глядя в оба,  
вдруг видит смерть как точку пустоты.

\* \* \*

...в один из дней болезни, ввечеру,  
в обнимку лёжа с куклой однорукой  
и глядя в потолочную дыру,

прошитая насквозь смертельной мукой  
родившейся души (отождествлю  
рождение души её со страхом,

хотя я тождеств страх как не люблю),  
в том закутке лицейском, в том углу,  
где Пушкин предавался первым ахам

(а почему бы нет?), переводя  
свой взгляд на абажур, единым махом  
освободилось нежное дитя,

услышав голос, детям и монахам  
доступный в чистоте их бытия...

\* \* \*

И всё, и всё. Хоть жаль, но это так.  
Вписать ли мне её выздоровленье  
в историю болезни? Нет, иссяк.

Я принимаю ваши поздравленья.  
Она встаёт и видит зимний сквер  
и стену колокольни в отдаленье.

Всё точно попадает в мой размер.  
Сейчас осечки быть уже не может.  
Мы ждём врача — и вот он, например.

И нет его. И день последний прожит.  
Теперь (с уходом доктора) на два  
любитель умноженья пусть умножит

свободу героини. Вот глава,  
которая отныне не тревожит  
того, чья опустела голова.

## ИЗ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

\* \* \*

Сгребают листья. Бурые знобят,  
зазубренные, скрученные гибло.  
День животворной гибелью объят.

Округа опустела и охрипла.  
Всё вертится сказать: на даче спят.  
Цитата есть цикада есть цикута.

Там полосы пижамные скамьи  
больничный сад разметили кому-то  
и оттеснили замыслы твои,

там старые меха опять раздуты —  
опять свою тревогу раскрой  
на вольные терцины и минуты

и ясности постольку не утрать,  
поскольку пред тобою атрибуты  
безумия: вот ручка, вот тетрадь.



\* \* \*

«Я наблюдаю ход древесных лав,  
передо мной — в разливах красноватых  
по двум бортам — тяжёлый дышит шкаф,

а хочешь — так: подобием крылатых  
массивных птиц, чьи крупные зрачки,  
как рыжий вес в дымящихся закатах,

а хочешь — так: двойкие сучки.  
Весь этот вздор наотмашь рассекает  
удар зеркально выбритой реки,

где перспектива жизни иссякает.  
Я по утрам туда смотрю, мой брат,  
куда пространство комнаты стекает —

вот реквием по всем вещам подряд!  
Как странно, брат, что ум не постигает  
явления. Пиши. Я буду рад».

\* \* \*

«Стакан гранёный с точкою на нём  
чаинки нежной вижу, открывая  
глаза; и вижу: тронутый огнём,

он врезан в воздух; глаз не отрывая  
от вещи, я бесстрастности учусь,  
вместившей свет, и гаснет мысль кривая.

(Литературных сборищ сторонюсь  
с тех пор, как я отведал их припарок.  
Друзья мои, ужасен наш союз.)

В стакане, пожелтевшем от заварок,  
дымится чай, «страница под стеклом,  
бессмертная, вся в молниях помарок».

(Сообщества людей чреваты злом.)  
Прощай, мой брат. Осенний день неярк.  
И поделом ему, и поделом».

\* \* \*

«Как до отказа тесный апельсин  
набит росистой мякотью, как явлен,  
как собран в капилляры, как един,

как тишине внезапной предоставлен!  
Лишь почитатель медленных картин  
увидит: с белоснежною прокладкой

под кожурой — увидит: апельсин,  
и улыбнётся теме кислосладкой.  
Лишь тот, кому не спится в этот час,

кому над ослепительной и краткой,  
живой строкой склоняться всякий раз,  
и вновь над ней склоняться, как над грядкой,

не надоело, — счастлив без прикрас.  
Лишь тот, мой брат, кто бодрствует украдкой,  
к скрипучей лире стула прислонясь».

\* \* \*

«К скрипучей спинке стула прислонясь,  
я тень свою не вижу, но за мною  
она растёт и дышит, преломясь,

и на окно взбирается ночное.  
О чём я говорю с тобой сейчас?  
О том, что жив и невообразимо

ничто и никогда, мой брат, без нас.  
(И только смерть отбрасывает имя  
так далеко, что глохнет эта связь...)

О том, что тень безмолвная хранима  
тем, кто ещё отбрасывает тень.  
(Где Манделштам? Где то, что несравнимо?)

Живущий где? В игольное продень  
ушко немного неба или дыма...  
Где, как страница вспыхнувшая, день?)».

\* \* \*

«Едва потёмкам вещь себя вручит  
и с ней погаснут грани и рельефы,  
как в тот же миг по улице промчит

такси, и превратившись (не успев и  
смежить глаза) во вслушивание, ждёшь,  
когда довоплотится дальний рокот

в стеллажного стекла двойную дрожь.  
И всё, мой брат. Мне дорог этот опыт.  
Всё прочее, мой брат, ты помнишь — ложь.

Словесность, если что-нибудь и гробит,  
то направленье: и славянофил,  
и западник — лишь степень истощенья

жизнелюбивых и творящих сил.  
Россия, Бог... В искусстве воплощенья  
*что* слово «Бог»? — Не более, чем стиль».

\* \* \*

Сгребают листья. Холодом реки  
осенний город призрачный пронизан.  
Вдоль набережной спят особняки,

и голубь препирается с карнизом,  
и небеса сбиваются в комки,  
и на вокзале выщербленном, сизом

землём и дымом пахнут грибники...

\* \* \*

«Что связывает с миром, кроме тех  
полутонов, окольных замираний —  
свет ширится в аллее, или смех

доносится случайный, или грани  
предмета стороною проблещат —  
что связывает с миром, кроме ранней

тоски по ускользящему? Взгляд  
уловит подоплёку, но стараний  
усердных не продолжит, милый брат.

Какой у человека был бы странный  
характер, боже правый, удели  
он должное вниманье подоплёке...

Что связывает с миром? Шум земли.  
Но не прямой, но косвенный, далёкий...  
Не шум, так свет, но вспыхнувший вдали».

\* \* \*

Сгребают листья. Осень. Проходным  
идёшь двором от улицы Рентгена...  
Куда?.. Куда-то. С воздухом родным

вдыхая горечь лиственного тлена.  
Приземистый голубоватый дым.  
Мерцающие, гаснущие хлопья

сухой листвы, сорвавшейся с огня...  
И старшекласник, глянув исподлобья,  
попутчице укажет на меня

насмешливо — во всём моё подобье  
двадцатилетней давности, родня.  
Всё более неправильною дробью

расходимся навек в пределах дня...



\* \* \*

«Свetaет. На работу. Быстрый штрих  
ветвей заденет зрение. До стужи  
шаг не дойдя, мир осени притих,

и что ему построчный мир досужий...  
Когда бы он услышал этот стих,  
он, верно, изумился бы далёким

от истины созвучиям, — объём,  
не знающий о низком и высоком,  
с косым штрихом ветвей на голубом.

(Душа, как лаборантка, ненароком  
об эту колбу стучается лбом.)  
Смешно, что аварийная есть парка,

свивающая нить моей судьбы  
рабочей. На работу (как — насмарку)  
я направляю нежные стопы».

\* \* \*

«Светает. И пока слепит рельеф,  
и синева подобна синеве лишь  
(но — *большей*) и сквозит между дерев,

пока ещё глазам своим не веришь,  
что это мост в ночном стоит поту,  
и ты его хребет шагами меришь

и с этой стороны идёшь на ту,  
пока не древнегреческие воды  
штурмует двойка девушек в цвету,

пока ладья затянута под своды  
в гудящую сырую темноту,  
вымелькивая справа от свободы

твоей души, — душа твоя пока  
слепящие явления природы  
утроила (удвоила — река)».

\* \* \*

«Совсем светло. В зрачки уходит парк  
осенний, и берёт от цвета округ –  
карминовая, алая, краплак,

лимонный кадмий, крапленные в мокрый  
куст бисерный длиною в быстрый шаг,  
и к ним сиена жжёная и охра –

все разом, и компанию дворняг  
приветствует стрелок могучий ВОХРа  
железной миской. Кто его замёл

в природу этой осени, обильно  
пропитанную светом, кто приплёл  
к тому, что мной описано столь сильно?..»

\* \* \*

«Но есть среди подробностей живых—  
запавшие в молчанье, вроде клавиш.  
Не знаю ничего, не помню их.

Ни слова во спасенье не прибавишь.  
Ни имени не зная, ни страны,  
ни о душе бессмертной, ни о теле,

мы в этот миг вполне воплощены,  
и зеркалу, в которое смотрели,  
преображенные, возвращены...»

## ИЗ ШЕСТОЙ ГЛАВЫ

\* \* \*

Тот город, по которому бродил,  
вгоняя в черновик за строчкой строчку...  
А впрочем так: блажен, кто посетил

сей мир. Здесь и поставил бы я точку...

\* \* \*

Уже поблекло солнце. Летний день  
сворачивал последние манатки  
и удалялся в лиственную тень.

Мост, положив себя же на лопатки,  
дрожал в реке, и нижняя ступень,  
прихлёбывая, в час по чайной ложке

пила волну. Летела дребедень  
всё с тех же тополей. Сидели кошки  
в подвальных окнах, вдруг, как некий мим,

вытягивая ручки или ножки.  
Над фабрикой вдали струился дым,  
перекликаясь с этой пантомимой

и цветом и движением своим.  
И думая, возможно, о любимой,  
шёл нелюбимый, Господом храним.

\* \* \*

Всё то, что там не сказано, теперь  
пытается сказать себя. Я верен  
тому, куда таинственная дверь

за ковриком ведёт. Но ключ потерян.  
Там огниво хранит косматый зверь,  
и пламя вырывается из пасти

косматого... Там узкий брезжит свет  
под дверью. Ты один. И все напасти  
ночные – при тебе. Что детство? – След

ладони на стекле. Черно. Ненастье...  
Потом словами траченный поэт  
к нему проявит нежное участие...

Но детство тем значительней, что нет  
заботы восклицать: какое счастье!  
Там не *оно*, там *ты* скорей воспет.

\* \* \*

Абсурда нет. Есть только абсурдист...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

И если записал когда-то я,

что дворничиха, старая татарка,  
из прачечной несёт мешок белья  
(её серёжки вспыхивали ярко,

как вдруг растормошённая зола),  
то эхо специфического шарка  
ты слышишь и теперь из-за угла.



\* \* \*

Она сказала: «Помните приход  
врача, когда ты болен, но не очень,  
его звонок, волнение своё,

два голоса, короткое топтанье  
в прихожей, дайте ложечку, скажи  
«а», «а-а-а», дыши, ещё, поглубже,

взгляд на обои мёртвый, не дыши,  
сердцебиенье перед приговором,  
и наконец он вынесен, рецепт,

три раза в день, уход врача и эта  
свобода, не сравнимая ни с чем:  
всё пусто, тишина, с тобою книга...»

Затем она сказала: «Я пришла», —  
и мы простились...

\* \* \*

«Сплошная неотступность этих дум.  
Ты можешь ли представить мысль, изъятой  
из мозга (отделить от моря шум

прибоя — *то* же) — есть ли соглядатай  
сего труда? — но если расколоть  
коробку черепную, мозг, зажатый

в её тиски, — в свидетелях Господь —  
не мозг, но мысль — измучена тобою,  
вдруг душу обретёт твою и плоть.

Ещё касаясь зыбкою стопою  
стихии, но уже сленя, как соль,  
реальная, подобная прибою,

от моря отделившемуся столь, —  
она взойдёт на берег, за собою  
оставив утихающую боль».

\* \* \*

«Всё только жертв незримых череда.  
И в юности ты ждёшь вознагражденья  
за всякий миг духовного труда,

за праведный отказ от наслажденья  
*длит* наслажденье. Горечь и тщета.  
Награды нет. И гордые виденья

сгорают в чистом пламени стыда.  
И нищенству полуночного бденья  
ты благодарен в зрелые года.

И здесь тебя накроют «муки ада»:   
ты любишь вновь. Поэт сказал: «О, да!»  
Страсть не умнеет с опытом, и надо

всё начинать сначала. И тогда  
не лучше ли из призрачного сада  
уйти, в нём не оставив ни следа».

\* \* \*

«Вся жизнь не дольше мысли о тебе,  
прощай, прощай, прощай, не дольше жажды.  
Сказать «ты значил всё в моей судьбе»

могла бы, но не скажешь ни однажды.  
На чёрный день я знаю два пути,  
и выверен не раз и пройден каждый —

старухой или девочкой, прости  
мне эту вольность, я воображаю  
тебя... Не потому ли и в чести

два призрака, увы, что оба с краю  
всего, к чему ревную, и близки  
небытию — тот аду, этот раю —

не суть — двум разновидностям тоски...  
Но и с посмертной ревностью сверяю  
упорное дыхание строки».

\* \* \*

«Есть несколько прекрасных мест, одно  
из них любимей всех, — я старомоден,  
но сердце всё же в трепете, оно

на то и сердце, — лучшая из родин  
вот: Кировский в ночную пору мост  
и воздух, золотист и черноплоден...

О, этот путь к тебе под небом звёзд  
(высокого волнения мелких своден)  
со стрельчатым собором в полный рост —

мне более других путей угоден.  
Люблю тебя. Язык мой слишком прост.  
Я знаю. Но сегодня я свободен

так говорить. Прости, мне всё равно.  
Тем более, что путь как будто пройден,  
и ты со мной, ты здесь, ты заодно».

\* \* \*

«Как жизнь в стихах, так явь мои и сон  
развёртывались, подразумевая  
влюблённости волнующийся фон.

Я вижу: ты выходишь из трамвая,  
и воздухом твой профиль позлащён,  
ты щуришься, ладонью прикрывая

глаза, и нерешительно стоишь  
вполоборота, нежная, живая...  
Как бабочка, всю бархатную тишь

цветка вобрав, торопится к другому, —  
так и влюблённость. Жаль, что это лишь  
мгновенье, прерывающее дрему.

Но хорошо, что скаты влажных крыш  
ещё блестят, и тыходишь к дому,  
и медлишь, и весне благоволишь».

\* \* \*

«Ночные дорассветные часы,  
что я провёл под окнами твоими,  
как юноша, в испарине росы,

до времени, до времени таимы...  
Но нынче, говоря, я расстаюсь  
и с ними, и с тобой, тревожа имя

любимое, и больше не таюсь.  
Случалось ли тебе в воображенье  
так пережить небывший наш союз —

я знал твоё малейшее движенье  
по комнате, — в той степени, что вся  
реальность — лишь позор и поражение:

то пошло ухмыляясь, то кося,  
как в зеркале кривом, в ней отраженье  
искажено, и вместе быть нельзя».

\* \* \*

«Есть средство безупречное, оно  
утишит боль невстречи: сигарета,  
за шторой, чуть отдёрнутой, окно —

прозрачная граница тьмы и света —  
и мысль о смерти. Лакомый набор,  
врачующий несчастного поэта.

Мне он противен с некоторых пор.  
Доступное смирение. Довольно  
подглядывать за тьмою из-за штор.

Прощай же. Как бы ни было мне больно,  
я этим не воспользуюсь. В упор  
не вижу тьмы, а вымысел настольный

лишь укрупнит разлуку ли, раздор,  
стежками строк и с точностью игольной  
прошив стократно гибельный узор».



\* \* \*

«Не вмешиваться в жизнь того, кто так любим, как ты, — о, это всё, что в силах мы сделать для него. Совсем пустяк.

Особенно, когда водица в жилах.  
Для Гамлета готов дверной косяк.  
Пусть прислонится, думает о милых.

Пусть за него решает Пастернак.  
Поскольку в жилах кровь, а не водица,  
и жар в крови поскольку не иссяк,

есть основания верить, что страница  
заполнится существенным стихом,  
затем — есть основания удивиться,

что схи́ма отречения тайком  
в стихе сумела так преобразиться,  
что отыграла счастье целиком».

\* \* \*

«Предметы мира столь освещены,  
озвучены, полны такого смысла,  
что все соображенья не верны —

пусть даже и точней они, чем числа —  
о тлене, о греховности, вины  
не знаю за собой, и вовсе кисло,

когда распалены говоруны,  
опасно проповедуя и мысля.  
Всё это пошлость. Варварской страны

мне безразличны ханжество и окрик.  
Тугое натяжение струны.  
Не потому ли всё имеет отклик,

что зрение и слух обострены,  
как если бы искал я всюду облик  
твой. Безупречный. Прочие — темны».

\* \* \*

«Черты запечатлённого лица.  
Под своды век, под матовые своды  
с крестами рам идут, как два слепца,

очерченные чётко небосводы —  
то солнца золотистая пыльца  
их тронет, то погаснут безучастно

за облаком тяжёлого свинца —  
ты счастлива, мгновенье — ты несчастна,  
но с прелестью чистейшей образца

минувшего столетия не напрасно  
тебя сравнив, я славлю дар Творца,  
так зеркала расставившего часто,

что чуду отраженья нет конца.  
Твоё лицо — везде, оно прекрасно.  
Черты запечатлённого лица».

\* \* \*

Так он писал. Поэт и есть поэт.  
Романтик. А любовь столь уязвима  
в своей самодостаточности... Нет

огня без разьедающего дыма  
иронии, не так ли? Всё же есть.  
Прямая жизнь. Без хитрости. Без грима.

И это возражение и месть  
холодному расчёту фантазёра,  
который не сумел её учесть.

Я избежал подобного позора.  
Зато других грехов не перечеть...

*1974–1989 гг.*



К О Р О Л Ь   Л И Р

## П Р О Л О Г

1

*Шут, изображающий диалог двух ведущих*

Занавес!

— Уважаемые, вот слеза на вес —  
продаю слезу!

— Божью росу  
лучше бы торговал, простак.  
У тебя её много, чай.

— Как бы не так!  
Роса, чай ли,  
а слезой не брезгуй, она подчас —  
золотой запас  
неизлечимой печали.

2

*Король и шут*

— Шут, я счастлив, ты ж  
к счастью глух, бесстыж.

Пробуй жить!

— К счастью, я глухая тетеря.  
Но кривым участием  
тебе готов,

дяденька, послужить.  
Знай: шутирование артерий,  
забитых счастьем, —  
долг шутов.

3

*Король — шуту*

— Слушай. Дочь есть у меня  
единственная.  
Что такое, шут,  
знаешь ли ты, рождённость  
в это тело таинственное  
и в сиянье дня  
вовлечённость?

Я учу её. Лиру  
пальцами тронет —  
что за музыка!  
Кто ещё так свободен?  
Слушай. Если тебя не тронет,  
значит, ты миру  
не соприроден.



# П Е Р В Ы Й   А К Т

*Дочь*

1

квадраты воздуха зажглись на веранде  
и зелень всполошила мне глаза  
волной повиснув на ограде  
впилась в небо солнца оса  
вчера кануло пинг-понговым  
шариком в цветы  
склонялись над пионами  
но не нашли умелькнувшей пяты  
ювелир вырезает зубчатые листья дня  
из сегодняшнего огня  
а мой пёс королевский по кличке Лир  
виляя хвостом над костью юлит ювелир

2

рукомойник синий колокол  
возвещает мяту утра  
цветной выпуклости сколько  
на сырой палитре  
и всегда есть птица  
бокового зрения  
в траве мёртвая непевица  
траурное оперение  
зачем живому умирать  
ведь не возобновиться жить  
не знает что сказать  
но хочет верно служить  
мой Лир и соглашается  
и лаем оглашается

3

Лир несётся к заливу  
он залиvistый у меня  
по пути вбегает в густую лиру  
краснотала  
дрожат струны молча звеня  
только бы всегда рассветало  
только бы рассветало  
блещет язычок огня

4

празднично и легко  
по пятницам приезжает повозка  
мы идём за хлебом и молоком  
колхозным  
может ли быть лучше  
солнце нас освещает  
звук черпака в бидоне и льющегося  
молока меня восхищает  
даже как люди в очереди  
переговариваясь стоят  
вдыхая пыльной травы обочины  
и хлебной мякоти аромат

5

полдень сердцевина дыни  
люлька в ельнике  
издали он синий  
в дымке наверху светильник  
время ослепляющего безделья  
длительность пыльной  
дороги белой

полдень дыни распиленной  
в этот час Одиссей  
входит во двор  
свет просеивается  
с песком сквозь имя его  
это я вхожу а единственный  
кто меня узнаёт  
Лир мой Аргус мой истинный  
друг встречающий у ворот

6

комары косят воздух висят  
морозящим войском глазами косят  
заселяют сад  
их нет изнутри  
только снаружи  
а красные метры зари  
всё у же и у же  
комары зудящие  
кровь удящие  
рыбаки на ровной реке руки  
для меня лето  
для него Лета  
если надо пресечь комара  
значит пространство выискала дыра  
чтобы в ней другой  
повис над рекой

7

однажды случилась беда  
убежал и исчез в перелеске  
не вернулся пропав навсегда

мой пёс королевский  
теперь какая-то поволока  
зрение со мной играет в прятки  
что за диковинная поломка  
в заведённом порядке  
я поломку не почию  
как внезапное горе забуду  
что-то меняется нипочему  
из печальной причуды

8

когда исчезает совсем  
тот кого любишь  
всё становится тем  
кого любишь  
дерево его тень  
даже мёртвые вещи перила  
стол блюдце  
их сияния как птиц крылья  
через край льются

9

ещё река  
прозрачная текучесть  
с краплением омота-зрачка  
в вечернем воздухе спит звучность  
то рыбьих спин  
строй замершая вёрткость  
то дышит темнота глубин  
живой души моей подводность  
я здесь и там  
в себе не обознаться

прислушиваясь к временам  
где это будет вспоминаться

10

зачем выдумка  
приобрести друга и потерять  
история вдоха и выдоха  
подсмотреть в будущего тетрадь  
может быть увидеть в окно  
будущее гостем ночным  
может быть заговорить его  
заговорив им

## А Н Т Р А К Т 1

### *Король и шут*

- Что скажешь? – Тронут. Тронутый не врёт.  
– Юродствуешь? – А кто я есть? Юрод.  
– Но как игра? – Твоё, король, влиянье  
изрядно, и оно не пропадёт.  
– И всё-таки? Оставь свое влиянье!  
– Дочь далеко пойдёт...  
– Есть нежность без сентиментальной фальши...  
– Но мой король пойдёт намного дальше.
- Ты памятью, увы, не одарён.  
– Господь щадит: мне не грозит урон.  
А кстати, выражаясь фигурально,  
нет лишней лиры? В путь зовёт кабак.  
– Там весело? – Нет. – Жизнь не беспечальна,  
ты прав... Спасибо... Сколько дать, дурак?  
– Не надо крупных сумм, на чай  
добавь немного и не умничай.

## В Т О Р О Й   А К Т

*Король*

### 1. НАС ВПИТАВШИЕ ВЕЩИ

Слегка о скитаниях.  
О внутренних, о живых  
картинах скитаний. О катаниях  
с горок твоих  
во дворе Ленинграда,  
в его ледяном дворце.  
Помнится, ты мне рада.  
Что ты нашла в отце?

Я смотрю теперь  
больше на вещи, чем на людей.  
Зорко смотрю. Поверь,  
вещи — святых святей.  
Нас впитавшие (тех,  
взглянувших на них  
одновременно), смех  
и слёзы твои и мои, — живых.

### 2. ОДНИ НА ПЛЯЖЕ

Прислонись к вещи  
слухом — услышишь: плещет.

Прислонись взглядом —  
как скупец над золотом,  
над своим закатом  
задрожишь, над её восходом,  
её востоком.

Пярусское побережье.  
Сентябрьское брезжит  
солнце тем острее, чем реже.  
Где-то собака брешет.

Вижу, как ты бежишь по песку.

Что-то я должен сказать,  
чтобы унять тоску,  
не осязая.

Море слепо себя мерещит.

### 3. МИСТУЛАНСААРИ

Северный пруд.  
В пункт проката идём.  
Этот на карте пункт,  
населённый судьбой  
долгой, ещё незримой,  
нас вбирает и, верно,  
заключает в себя.  
Чудо-тюрьма  
благословенна.

Вещь отдаёт  
морозом, снегом, зимой.  
Вещь себя выдаёт  
смёрзшейся бахромой:  
шарф ли это, перчатка,  
шлейф ли вечера синий —  
вещь себя выдаёт,  
как на прокат  
финские сани.



#### 4. ДОЧЬ ЗАСЫПАЕТ, Я СТАНОВЛЮСЬ НА ВАХТУ

Я о боли  
что-то скажу  
и о страхе сердца невинного.  
«Спи, младенец мой...» – напев лучистый  
возьми в дорогу.

На приколе  
лодка, между  
ты перейдёшь от паутинного  
страха, и когда явится чистый  
сон на подмогу,

лучшей доли  
не заслужу:  
ночь, котельная, свет пустынного  
неба в стылой реке, воздух льдистый,  
равный ожогу, –

не чудно ли? –  
я выхожу  
на набережную Мартынова  
увидеть лермонтовский кремнистый,  
внемлющий Богу.

#### 5. ПРОБУЖДЕНИЕ

Проснуться среди ночи в комнате  
и обнаружить,  
что ты один, – себя обрушить  
в себя. Окно в снегу и копоти.

Тот первый приступ одиночества,  
почти смертельный:  
впрямик — из теплоты постельной —  
один. Ни имени, ни отчества.

Беги, дитя, сбегай по лестнице  
в декабрьский холод,  
зови их, умахнувших в город,  
где блеск огней и окоlesiца.

Не празднично, дитя, не пьяненко,  
всё это позже,  
а нынче — первозданной дрожи  
бесценный опыт. Ночь и паника.

## 6. ДОЧЬ ПОЁТ

Залобуюсь, дитя, тобой,  
даже не глядявываясь в черты.  
Как останавливается форма на той  
точке, которая ты?  
Если я узнаю тебя в ней,  
значит, мы были прежде и будем впредь.  
Что бескрайнее и ясней  
радости на тебя смотреть?

## 7. ТОСТ

За пианино в доме и старание  
двух нерадивых рук  
сыграть «Январь», пока за гранью  
стекла зима очерчивает крут,  
за горло, перехваченное жалостью,

за штукатурку стен  
облупленных, за «сердце сжалось»  
в одном романсе, за сквозной рентген  
двора, где деревья стоят раздетые  
и ёжатся и дрожь  
бежит по веткам, за газету  
на стенде, за торжественную ложь  
передовиц, за всё, что не забудется  
и что забылось там,  
где ты одолевашь будень  
впервые в жизни (труд не по годам!),  
за угол наш на улице Чайковского,  
за ёлку в том углу,  
за детское в колонку войско,  
штурмующее снегопад и мглу.

## А Н Т Р А К Т 2

*Шут — Королю*

— Глазам своим не верю, мой король!  
Ты? В кабаке? К тому же привокзальном?  
Здесь шум и гам, не до-ре-ми-фа-соль.  
Что ты забыл в отстоище вакхальном?  
Молчишь? Сюда приходят говорить,  
себе или другому яму рыть.

Рой мух, король, не соль-фа-ми-ре-до.  
Куда бег быстрых пальцев ни отправишь,  
не осенишь осиное гнездо  
музы кою и нравов не исправишь.  
Опять молчишь? Тебя не узнаю.  
А то сыграем в карты? Я сдаю.

Тошнит, но не избежать общих черт —  
мы с картами в родстве. Когда на пике  
блаженства, в бубны бьём. За ними — пики.  
А там и крести. Черви — на десерт.  
Чем будешь крыть? Я захожу с туза.  
Есть козыри? Что в прикупе? Слеза?

Король, не в масть! Ты нынче сам не свой.  
Как дочь твоя? Ужели? Стала дамой?  
На выданье? Тут до-мажорной гаммой  
не обойтись. Ты болен головой?  
Довольно. Долг тебе не отыграть.  
Но третий акт ты *должен* отыграть.

## ТРЕТИЙ АКТ

*Король*

1

Не от жестокости твоей я с ума  
сошёл — от безвозвратности...  
Ах ты, доченька, твою ма,  
мало мне в этом радости.  
Вспомни, как себя повела:  
я на лире играл, когда ты  
жизни смысл предала,  
пусть незамысловатый,  
что поделать — он есть в родстве,  
цепкий, кровный,  
тот, что явлен в листе, —  
мы деревья, не брёвна! —  
в раздражении лиру, мой свет,  
вышвырнула, а после —  
и отца, и погасила свет  
в сердце его... В чисто поле  
выгнать из дому старика!  
Может быть, он играл нестройно...  
Да, но как поднялась рука?  
Грубо, доченька, непристойно.

2

На ступеньки вслед упал шестой  
том из собраний,  
вижу: «Так молода — и так черства душой?» —  
и твою, дочь, слышу брань я.

муха ли  
укусила  
ухнула  
бесья сила

Думал я иной раз у полки:  
вот умру, а ты  
подойдёшь, заглянешь в книгу — недомолвки  
проясняют мои, мечты.

Книги-то зачем? Книги жалко.  
В них ведь кое-где  
душа моя заложена, как фиалка  
безуханная. Быть беде.

книги вслед  
выбросила  
гнев мой свет  
выразила

И ещё жаль раскаяния  
твоего, ему  
не застать меня, это как таяние,  
но не к небу, а в земли тьму.

З

Я забрёл в подвал,  
эх, да в подпол... Проклял  
всё и так горевал!  
Много проку ль?

После на пол лёг,  
ах ты, на пол, на пол,

на лицо потолок  
ржаво капал...

Эх, перебирал  
в уме, что не так я  
сделал, доченька, мал  
ум однако,

ах, да не постичь,  
что взметнуло ярость  
твою, доченька... Дичь  
моя старость...

Никуда мне (сник!)  
отсюда не съехать,  
буду остатний миг  
ахать-эхать.

4

Я задвину горе,  
как книгу, туда,  
где исчезнет в хоре  
оно навсегда.  
Пусть его затянет  
серенькая пыль.  
Если ж снова ранит,  
снесу в утиль.  
В память-ум увечье  
вбить заподлицо,  
чтоб тебя при встрече  
не узнать в лицо.

5

В поле, в поле! Ветер гнёт  
придорожные деревья,  
дальнобойный огнёмёт,  
гром за молнией грядёт, —  
вот, король, исход творенья!

Низких по небу гульба  
туч, дурак из богомольни  
следом выполз — не судьба:  
бьют грома — как бы гроба  
звука сбрасывают в штольни.

Разум — курам на смех, мрак,  
чёрта с два, никто не хочет  
погибать за просто так.  
Где король и где дурак?  
Гром грохочет, дочь хохочет!

6

Притворимся детьми  
духа, не плоти,  
света, а не тьмы,  
птицей в полёте.  
Ты не ты, я не я.  
Без ручной клади  
долженствования,  
доченька, ради  
облаков и бликов,  
где бестрепетна,  
точно солнца выков,



совесть — ни пятна.  
Разве плачет дух? Нет.  
Притворимся-ка!  
Даже если рухнет  
птица, смерть легка.

7

Что-то вроде присутствия,  
вроде внезапной с ветвей  
осыпи листьев, вроде напутствия  
тебе, жизни твоей...  
Так ты будешь опознавать меня,  
как на ощупь слепой,  
считывая с осеннего ватмана  
выцветающий мой  
облик, отлетающий ввысь,  
по пути осы павшийся листвою.  
Жизнь эта хищная — чем не рысь? —  
стихшая по косой.

И за это невольное  
напоминание о  
себе — да будет оно небо льное! —  
огниво тайное,  
что-то затеплившее там, внутри  
парка, где ты идёшь  
и темнеет, где капают фонари  
и польхает дождь,  
где потом наступает тишь  
и ты закутываешься в пальто, —  
ты простишь меня? Да, ты простишь.  
Неизвестно за что.

8

Стать тем, кого навещают,  
посматривая на дверь,  
меня не прельщает.  
Светел день, только сер.

Но если из сострадания  
зайдѣшь, осилив свой страх,  
приложу старанье  
улыбнуться впотьмах.

9

Это есть только в уме  
когда не в своём я уме я  
а тихие вдалеке немея  
поля холодеют к зиме  
Вдруг ясность от Птолемея  
в обращѣнном к тебе письме:

«Птица до самого дна  
в небо заныривает. Скирда —  
скошенная золотая орда —  
стоит сиротливо одна.  
Вечером горизонт — черта,  
которая подведена».

10

Отвесный воздух — занавес прозрачный,  
ночь из кулис  
уже глядит, но сцены круг порочный

ещё вращается, ещё плывёт Улисс,  
и длится, длится пир внебрачный,  
и носится: уймись, уймись...

Дырявят воздух, занавес непрочный,  
прожектора,  
крик боли «Я тебе не первый встречный!»,  
и хладнокровное в дверях «Прочь со двора»,  
и оборот — точнее, чем точный, —  
ключа. И речь ему сестра.

Сыграй, дурак, на флейте поперечной  
мне эту ночь,  
не медли, дождь, и заряжай со строчной,  
о, всё как у тебя, мой Лир, дочь-в-дочь,  
завязывай себя в заплечный  
мешок, и — занавес, и — прочь!

## Э П И Л О Г

### *Шут и Король*

- Есть кто-нибудь? — А ты не видишь? — Нет.  
— На нет, дурак, нет и суда. — Сюда?  
Я слышу голос. — Это только след  
исчезнувшего без следа.  
— Нацедишь ли мне мудрости взаймы?  
— Слеза не мой товар. Свою возьми.  
— Ты видел старость? — Не на что смотреть.  
— Ты видел смерть? — А что там видеть? — Смерть.  
— Смердит. — Таков итог. — Других смеши  
и пей за упокой моей души.  
— Я плачу. — Слёз, дурак, не проливай,  
а главное — проваливай.

## З А Н А В Е С

*За кулисами король играет на лире  
и поёт шесть прощальных песен*

1

только тайна тайн  
перебирая воздуха ткань  
тёмное серебро расстояний  
петропавловского графина грань

люблю мглу  
гулкую под ногами глубь  
к булочному теплу  
жёлтому ещё льну

возвращений прищур  
в блеске причуд  
замысла не ищу  
раз подарен уют

2

о помещённость  
в тихий раствор  
дымков дыханий ещё есть  
осени парусиновый сор

из молитв  
всё ещё состоим счастливых  
жизнь не моя меня изумит  
в светлых дыша приливах

поздний извѣстки подъезд  
входишь захлопнув звѣзды  
всѣ о тебе затопливает вѣсть  
и не бывает розно

3

пыльной музыкой дпш  
надышавшихся детств  
тѣмным пригородом кружа  
о принуждений свет

в горле комом так и застрял  
чтоб с ума не сойти  
ты своими стихами стал  
ими и перепрятан поди

в них тебя не найдут найдут  
лужи блеск нефтяной  
фортепянный напрасный труд  
врѣт без промаха за стеной

4

мы здесь бродили  
берег родимый берег родимый  
как далеко нас везли  
забыть на краю земли

здесь и учили  
нотам плаванью языку  
в страхе потом сличили  
нас до и после нашли тоску

нет не имею  
больше к тебе отношенья дитя  
медлить нельзя и уйти не смею  
берегом тихим бродя

5

с этой горечью не знаю сам  
но поверх неё поверх  
как выныривает к небесам  
быстрый птичий век

ничего и не грозит уже  
в этой точке я иду  
в этой я лежу лицом к душе  
и лопатками ко льду

чистая беспримесная даль  
ставшая жильём  
но любви так жаль  
пусть не быть но и тогда вдвоём

6

в этой ясной кривизне  
и цветных плоскостях  
человек идёт на дне  
вдруг его охватывает

быстро быстро он дрожит  
и взлетает горсткой  
снега рассыпаясь шрифтом  
свежей вёрстки

я ведь был в гостях  
всё забыл в гостях  
вдруг объял меня великий  
и исчез впотьмах

М И Ф



## І . Р Е М А Р К А   К   Н Е С К О Л Ь К И М К А Р Т И Н А М

Пустая сцена.

Пауза, которая должна быть выдержана, как хорошее колхидское вино, прерывается мыслью зала: начнёт и — по закону сообщающихся кровеносных сосудов — мы станем равны.

Сцена длит паузу, пока зал не затихает, но и через мгновение после того, как он успеваает подумать: «Сейчас!» — не гаснет.

Обманутое ожидание располагает к смирению.

Ровный фиолетовый свет. Две женщины в чёрном, Медея и её мать, летят сквозь холодный февральский вечер, свиваясь в формулу горя, из которой в силу созвучия ясно, что умер Ясон.

Кровная связь женщин подобна тому, как подземное эхо одного дерева переплетается корнями с эхом другого. Ветви таких деревьев, куда бы они ни тянулись, обращены друг к другу, потому их рост и цветение кратки: из боязни не справиться с соседним разнообразием и, не уследив, потерять его из вида.

Любая посторонняя смерть, причиняющая боль, их сближает. Так тонущий корабль в решительном вертикальном уходе под воду стелкивает лбами шлюпки.

Но и само их взаимное тяготение столь велико, что может вытеснить из себя любую постороннюю жизнь.

Есть закон замешательства, по которому в момент, когда причина и следствие меняются местами, рождается мысль.

В данном случае — мысль зала: кровная связь преступна. И попутно, возвращаясь к сцене: мы с ней в тех же отношениях. Затем, уже забывая себя: всегда есть как минимум двое, потому что в одиночку мир просто не вынести.

Идия подхватывает слова Медеи и тем самым берёт на себя то, что без человека не живёт, а в человеке увядает: слова. Затем вступает вновь Медея и так далее, пока диалог не поднимается до молчания. Молчание же существует само по себе, кто бы его ни нарушал. И когда оно своим нерушимым терпением ставит в тупик двоих, появляется третий. Четвёртый, пятый, тысячный. Появляется хор.

Так на вечернем небе высвечиваются одна за другой звёзды, словно бы наращивая безмолвие в ответ на шум земли.

Так молчание умершего, которого мы по привычке отождествили с едва народившейся звездой, становится безмолвием природы и, значит, — вызовом привычке.

Это и есть хор, который звучит, помня, что он эхо немоты и его удел — тишина, которая себя не выдерживает.

Так рождаются боги.

Вдохновение Идии связано с возвращением Медеи к заколдованному кругу семьи. К колхидской ночи, их породившей. И хотя залу открыто её скорбное сознание: пусть дочь нарушила священные установления рода и запрет отца Ээта, но, полюбив лучшего из героев, она устремилась к нему с той жертвенностью, которая вызывает сострадание, — зал слышит не то, что ему открыто, не скорбное, но торжествующее сознание Идии: Ясон умер и теперь, облачённый в латы легенды, не только навсегда отвоёван у Медеи, но и обречён ей служить своей славой.

Облик Идии говорит о том, что вдохновение — это радость, настоящая на трагизме.

Ответ Медеи ещё стремительнее удаляется от сути к чувству.

В вертикальном срезе сцены Идия и Медея образуют энергетическую воронку, в которую втягивается зал, понимающий, что на прямой человеческой сути не сыграешь. «Иными словами, — думает зал, — будь мы истинны — что бы от нас осталось?» Суть способна говорить только на языке чувств, т.е. на языке того, чем она не является, и именно поэтому говорит совершенно другое. Но если она всё же говорит, то право на игру добыто.

(Диалог примерно такой:

— Он любил меня, как никого никто. —

Так отец тебя только любит. — Отец, отец, да.

Боли шёлковая по живому нитка

вышивает в земле души, пока не возьмётся. —

Несравненная боль твоя, дочь, остра,  
и во мне живёт всегда, как зародыш,  
тот, что был тобой, до тебя. Мы сёстры  
боли. Долго-долго-долго её растишь. —

Так растила я двоих детей. —  
Да, двоих. — Ты помнишь? — Я помню. — Помнишь? —  
Да, я помню. Их нет на свете. —  
Есть удвоенная тишь-тишь. —

И ещё есть песни твои, Медея. —  
Он заслушивался ими, хоть равных в мире  
не найти Ясону-поэту. — Лишь ты да я  
знаем правду великой любви. — О горе! —

О прижмись ко мне, моя дочь, сильнее,  
ночь, не эта — колхидская, — наша кровь, и ты  
торжество её. Видишь тот вон синий  
свет, позёмкою перевитый?)

Медея припадает к груди матери. Мать шепчет какие-то заклинания, и на мгновение кажется, что она с грудным ребёнком на руках.

Каков бы этот диалог ни был, главное, что зал улавливает тему отца Медеи и понимает, почему с момента появления женщин на сцене чувствовалось незримое присутствие третьего. Кроме того, зал обращает внимание на двукратное повторение вопроса «помнишь?».

Зал — подсознание сцены. И наоборот. Взаимное недоверие, добровольно отказывающееся от себя в пользу игры. И они же, сцена и зал, невольно приходящие в себя и немедленно испуганные своей пустотой, вновь впадают в игру. Если бы присутствовал кто-то, кроме них, то он определил бы эти взаимоотношения как бесконечность лжи. Но определять некому. Потому происходящее неотлично от правды.

В синем воздухе (с беглыми прожилками февральской позёмки) гроб с телом Ясона.

По обе стороны, лицом к залу, свита друзей, словно притянутая к нему и потому стоящая подчёркнуто прямо. Потупленные взоры указывают путь, предстоящий покойнику.

То один, то другой взгляд — отважный ровно настолько, чтобы скрыть свою робость перед душой, ещё не покинувшей тело, — устремляется к гробу, выполненному в форме ладьи, как если бы Ясон уходил в прощальное плавание в окружении осиротевших гребцов и у тех по внутренней стороне кожи бежали мурашки предвкушения.

Степень благородства, к которому они призваны, столь высока и заманчива, что едва ли кто-то из них устоит перед соблазном её достижения.

«Прижизненное почитание героя, — подхватывает зал, — держится на силе опрометчивой зависти». Опрометчивой, потому что, окажись завистник в его шкуре, он бы взвыл от непосильной ноши, а кроме того, чем сильнее зависть захлёбывается восторгами, тем она очевидней. Если прижизненное почитание (о, зал не унимается!) ещё балансирует на благопристойной грани, сдерживаемое живым предметом почитания, то почитание посмертное — такой вызов вкусу, который имеет своей тайной целью истребить память об умершем, перенасытив воздух испарениями скорби и успев нажиться на этом и пожировать за его счёт.

Ничего этого нет.

Геркулесовы столбы благородства.

Незримое присутствие жён друзей (как в первой сцене — Ээта), их закулисные слёзы, их несбывшиеся надежды и чувство утраты не только Ясона, но гордости за мужей, приближенных к нему и никогда не унижавших ревнивыми расспросами ни себя, ни их. Ожесточённая встречная скорбь.

Ничего этого нет.

Есть воздух, в котором поблёскивают парные лодки глаз и ресницы, всё тяжелее гребущие с приближением ночи.

Есть гнетущая мозговая попытка проникнуть за оболочку мёртвого тела, гнетущая, потому что мысль не живёт в той среде, в которой не может родиться, и гнетущая вдвойне, потому что её туда тянет.

В глубинах воздуха вспыхивают факелы, обнаруживая присутствие многолюдной толпы, но людей не видно.

В левом углу сцены – вдова Ясона Креуса с кормилицей. В правом – лирник.

По мере того как толпа из невидимой превращается в невидимую всепоглощающе, хор, отвечая ожиданию зала, нарастает.

(Вариант хора:

Помним, как в поход, Ясон, снарядил корабль  
ты, и вёсел хлоп стал им весел, о, помним вопль  
молодых гребцов, разгрызающих. Ясон, орех  
гречкий утлого мира, и взрыв его вширь и вверх.

Как внимали тебе, герой, юноши нервные,  
подражали, песням твоим вторя, верные,  
на измор их море брало, и небо, и ветры, и  
то, как мерил ты их стихотворными метрами.

Как вернулся, помним, Ясон, как за тобой по пятам  
тенью Медея шла, как разносился славы твоей тамтам,  
как хотел нам рукой махнуть, сходя на прибрежный плёс,  
и рука запуталась в водорослях её волос.

И тогда, как теперь, но не вдовою – невестою,  
помним, Креуса стояла, как тишина отвесная,  
помним, помним, о, ясная жизнь безвестная,  
где ты? Бабыя жажда: «Зачать! Его кровь – небесная!»

Что же, нынче ты новых, Ясон, как и всегда, земель  
открыватель, тепло ли оделся, по вечной, Ясон, зиме ль,  
и готов ли к тому, что не в силах с тобой на сей  
раз никто отплыть, что плывёшь вслепую и без друзей.

Так прими бессильного разума детище  
на прощанье: станешь звездой, одной из тысячи  
небосвода, Ясон, в полыхании сведущей,  
потому что хоть жизни нет там, но светит свет ещё.)

Шум прибой, удвоенный шипеньем гаснущих факелов. Проходит двадцать девять секунд.

Утро. Александр просыпается в доме Медеи. Накануне она впервые увидела заезжего скульптора на состязаниях в честь Ясона и легко, с улыбкой, увлекла его в свой дом на берегу моря. Слепяще серебряные чешуйки света, пробиваясь сквозь занавеску и тень дерева, доносят свежесть рыбного рынка.

Взгляд Медеи обращён одновременно на Александра и на тень, потому глаза её смотрят в разные стороны и лицо двойственно: неуловимо анфас и определённо красиво в профиль. Либо: оно прекрасно в любое следующее (но никогда не первое) мгновение. Если бы мы видели только красоту, то сравнили бы её внешность с птицей, вполне различимой лишь в профиль, в момент движения.

Природа Медеи устремлена к до- или пред-существованию: присутствие, говорящее об отсутствии. По утрам её кровь, в согласии с морским отливом, уходит от берегов плоти и лицо бледнеет. Кажется, что розовый напиток, который она то и дело отхлёбывает, призван вернуть лицу его цвет.

Александр видит, как она удаляется, превращаясь почти в точку, и, вбрав в себя его прошлое, возвращается в воображение Александра пятнадцатилетней девушкой, с которой он идёт южным приморским городком, ночью, и желание и влюблённость недооволощены с такой силой, что хватятся себя только через годы, сейчас, в этой комнате.

И теперь, когда она удаляется вновь, он бросается вдогонку.

Исчезая, Медея попадает в Колхиду, в объятия юноши, которого она оставила ради Ясона, — объятия, которые словно бы осели на ней копотью жертвоприношения после того, как юноша повесился, и из которых она высвобождается для всё новых и новых, чувствуя, что они лишь прочнее запелёнывают её.

Дрожащие в занавесках очертания дерева набрасывают эти события, затем проясняются, замирая, до облика Индии и окликают Медею.

Тишина. Александра и Медею выдаёт лишь медленное дыхание комнаты, когда стены то опрокидываются светом и раздуваются, как паруса, и тогда любовники исчезают, то опадают тенью и закрываются, как лепестки, и тогда они оказываются в сердцевине цветка.

Так проходит день, и по мере его опустошения начинается прилив.

(Плач Медеи:

Ах, почему эта скорбь?  
Тень мне пошли, Геката.  
Разве любимый наскоро б  
жил, если б знал, что некуда  
без него смотреть,  
без него глазам?  
Не удавился б насмерть,  
предавался ласкам.  
Рядом со мной ложись,  
тень краткой дремоты.  
В слезах моих множась,  
останавливаешь время ты.  
Ах, сильнее люби.  
В лунном луче,  
в глубочайшей живёшь глуби  
груди моей, в плаче.)

В тех случаях, когда мысль или воображение зала срываются с цепи, свет гаснет. Даже малая доза темноты предпочтительней самых изощрённых картин. Это единственный способ избежать очевидности. Впрочем, несовершенный: зритель и в темноте может увидеть загорающийся в глазах соседа злачный огонёк солидарной догадки. Но если погасить и его, то до слуха донесётся хор.

(Вариант:

Дух блуждающий, усни,  
чтобы не болела смерть

в самые слепые дни,  
там, где некуда смотреть.

Чтобы не болела там  
в дни невзрачные тебе  
смерть, доступная кротам,  
видимая слепоте.

Чтобы над любимой, той,  
что теперь дрожит, как ветвь,  
не витать — над наготой,  
взятой не тобою, вмерть.)

Блуждающий дух юноши-самоубийцы становится обитателем комнаты, в чьей темноте, вникая в неё всё больше, Александр чувствует, как его омывают волны чужого прошлого, как время Медее, на пересечении с его временем, вовлекает в то давнее событие, в котором он не участвовал и в котором оказался лишь сейчас.

Если бы из своего тела увидеть падение души в это тело, в момент его рождения, если бы увидеть луч своего ещё предполагаемого бытия, направленный и падающий на тебя, и встречным движением уже обрётённой души взлететь к основанию этого луча, став его источником, то вслед за Александром можно было бы ощутить себя горлышком часов, подобных песочным, где время, беззвучное и бесцветное, идёт из конуса прошлого вверх, в будущее, и вдруг, оказавшись настоящим, застревает в нём на секунду, а затем — увидев в обе стороны, что его бесконечность замкнута в пространстве чужой судьбы, ставшей отныне и твоей судьбой, — взрывается и исчезает.

Тень юноши, витающая теперь над Александром и Медеей, есть совершенный образ тени Александра, витающей над Медеей и юношей в их прошлом, подобно тому, как соитие, обладающее двойной силой избавления от боли, от прошлого того и другого в единой точке чувственной радости, — образ духовного раскрепощения, и подобно тому, как темнота в театре — отражение полного слияния сцены и зала, в котором происходит зачатие, мысль и освобождение.



Таково это мгновение, которого — поскольку глагол «очнуться» имеет настоящего времени, но только «очнулось» или «очнётся», — нет.

Очнётся не оно, но то, что очнулось. И в медленном рассвете, как повозка, запряжённая волами, двинется, обременённое тем, что ему предстоит.

Утренний луч, обходя стены комнаты, высвечивает изображения Ясона.

Александр, слышавший о его подвигах и похождениях, знающий его героические и любовные песни, смотрит на эти росписи, затем на Медею, вернувшуюся, пока он спал, из ночного странствия, бледную, сидящую на полу с розовым зельем, затем снова на Ясона, впившегося взглядом в море, — ещё до Колхиды, но уже принуждённый Пелием, он делает шаг навстречу судьбе, — и вновь на Медею, идущую в одной сандалии (видит зал!) к занавешенному морской солью и солнечным светом окну с прожилкой древесной тени.

На другой росписи — скинув с плеч скобки, видит, видит зал! — у Ясона, стоящего на корме, в руках голубь, а у ног — мёртвый ястреб, между тем как Медея отдёргивает занавеску и, распахнув окно, вскрикивает от неожиданности: чиркнув по белизне, на законный тополь слетает птица.

Каждая роспись звучит как вопрос Александра и каждое движение Медеи — как её ответ, поэтому, когда Ясон ступает на родной берег, в лучах славы, и на самом краю изображения различима женщина, на ней несомненный отблеск его славы, и, значит, глаза слегка и блаженно прикрыты, а фигура на гордой грани исчезновения, — эта женщина становится Медеей только сквозь увеличительное стекло реальности.

Медея со своей чашей кружит по комнате, её бормотания обращены то к живому, то к умершим, либо — когда она останавливается у окна — к птице, непрерывно звучащей всё это время.

(Сердце птицы заключено в букве «ц», потому в теме должна поблескивать золотая ниточка звука, что-то вроде:

Цепляй, Медея царственная, ветвь  
цветущая, цепляй, Медея, весть:

дочь да вернётся в дом, пока не ветх  
дом и не отдан молниям небес.  
Таков царя колхидского наказ.  
Отца, Медея царственная, гнев  
испытывать ли гибельный сейчас,  
отцарствие строптивостью задев?)

Свет, отражённый от стен, сходится на Александре и (увеличительное стекло реальности!) выжигает в нём дыру, по краю которой начинают подниматься язычки пламени. В ней подвешен весь мир: мы видим (но уже через уменьшительное стёклышко) тот же интерьер и тех же персонажей, но в такой абсолютной ясности, которая вызывает недоверие.

Зато высказыванию дан шанс преобразиться и стать музыкой. Теперь оно способно двинуться не только от сцены к залу, от действующего лица к хору, от одного персонажа к другому, но и — с равной убедительностью — в противоположном и даже любом направлении.

Оно способно подчиниться безупречному ритму природы: моря или строения человека, — камертону, задающему частоту колебаний и чистоту тона, той музыкальной основе, по которой ткётся узор.

Ритм без направления, не создающий и не разрушающий. Ритм, который просто есть. (И в бушующей стихии та же безупречность: ничего умышленного. Она лишь неизменно воссоздаёт себя.)

В завершении этой сцены звучит сама идея музыкального инструмента, возникшая, возможно, из строения и состава живого существа: жилы, кости, кожа, — когда человек, услышав свою природу (и для того, чтобы отныне её не забыть), сотворил нечто, что звучит лучше, чем он.

Идея музыкального инструмента как памятника душевному порыву, как любовное признание души чистому ритму материи.

Зал: «За узором высказывания-диалога, за опьянённым петлянием жизни, за остовом, обросшим мясом, не всегда различима основа».

Сцена: «Но для вечно несовершенного человека — это вечная гарантия интереса к миру как к игре».

Зал: «К тому же, как склонен надменно думать человек, к игре не столько смыслов, сколько бессмыслицы, а потому, подобно котёнку, играющему с клубком ниток, он вдруг позволяет себе делать вид, что к ней охладел».

Сцена: «Надолго ли?»

(Конспект плача Медеи:

Несколько тех безрассудных месяцев  
нашей жизни, начиная с бегства.  
Плачь, Медея, не поместится в  
годы плач твой, соглядатай бедствий.  
Мне легко для утренних трудов вставать,  
говорил, когда мы вместе.  
Но Креусе — быть женой и вдовствовать.  
Ей сподручней. Поруганье чести.  
Дни под тяжестью любви согбенные.  
Я смотрела в огненном позоре,  
как ковровые дорожки пенные  
под ноги выкатывает море.  
Проклятое. Завистью травимое.  
Взявшее моих детей. Не снитесь  
больше мне. О смерть непоправимая,  
ты облизываешься, насытись.)

Александр слышит всё это впервые.

Его скульптурное видение мира поколеблено: небо треснуло и стало калейдоскопом. Достаточно малейшего дуновения, чтобы рисунок изменился. И действительно, в плаче Медеи промелькивает неожиданно улыбка. Простая, но на фоне плача кажущаяся циничной, как подмигивание, она напоминает Александру улыбку их встречи.

Медея достаёт ларец с зеркалом, белилами, киноварью, духами и притираниями. Её движения быстры и автоматичны.

В паузах, которыми проложено неутомимое слияние двух тел, любовники подобны прозрачным и пустым сосудам, немедленно и с наглядностью химического опыта заполняемым любовной влагой.

Медея знает эту неотвратимую, как восход и закат, тянущую боль в затылке.

Музыкальная тема: чувство как таковое (с выбросами страсти — пеной на его губах). Чувство как умственный распад, когда время, не принадлежащее человеку, но — лишь его пошатнувшемуся разуму, должно быть залито лавой воображения (в пределе — той самой любовной влагой), просто из инстинкта удержания равновесия. И чем изощрённее блуждания охотящегося разума, чем трагичнее и невозвратимей события, где он бодрствует и, значит, бедствует, — (здесь вступает вторая тема, тема, тема, которая сейчас настигнет первую и опередит её) — тем (тем, тем) более неистощимо воображение, не только заполняющее его пустые формы, но и плодящее новые извилины, и тем наслаждение окончательней.

Окончательней с каждым разом.

Александру была неведома интеллектуальная подоплёка вожделиния, называемая ещё любовью, как залу была неведома сцена, пока ему не померещились шорохи в полуосвящённых боковых кулисах и не почудилось их женственное колыхание.

Отныне вся мощь несуществования юноши-самоубийцы и Ясона течёт в его жилах, и отныне утроена встречающая, вбирающая в себя эту мощь, пещерная ночь Медеи.

Откликаясь на зов птицы — Идия! — тема, однажды заявленная, не улетучивается, но звучит, подобно струне, присоединяясь к общему гулу хора, — Медея уподобляется ей в своём ритуальном прихорашивании, и затем, по мере того как её руки совершают некий обряд над лицом и оно, теряя живую дымку дыхания, приобретает мёртвую чёткость и непроницаемость, — откликаясь на зов птицы и — с изысканной утончённостью, как думает зал, — на чувство Александра, Медея становится невидимой.

В представлении зала она оказывается в родительском доме.

Сухая, извилистая речь, не знающая выхода к морю. Выгнутая, как хребет, и саднящая, как когти, цепляющие дверной косяк. В соседней комнате, вне поля зрения зала, — Ээт. Оттуда приглушённый, но тяжёлый звук, словно бы перекачивается колесо. Диалог двух женщин, Идии и Медеи, то громче (явно предназначенный для слуха Ээта), то тише.

Речь о том, что во искупление грехов колхидского царства принесена жертва (смерть детей Медеи), и теперь бессмертие возвращено Эту.

Непрерывный голос, подменённый хором, который умышленно ошибается в одном слове:

Теперь, когда сбылось оракулом  
предсказанное, — дорогой ценой  
досталась слава: быть возлюбленной  
Ясона и в твоём, оплаканном  
тобою же, несчастье ждать за сценой  
освобождения от судьбы больной...

Справа беда и слева беда.

Многовидное горе  
то любовного лепета  
в пропотевшей норе,

то ревнивой ярости. Пена  
в хриплом оре.

Слева беда и справа беда...

Теперь, когда руно колхидское  
возвращено Эту за детей твоих, —  
ему возвращено бессмертие.  
Всей чувственности всё лицо людское.  
Всё счастье Идии в домашних воях.  
Всё кровное твоё, Медея.

Зал догадывается о происходящем вне сцены по тому, что видит перед собой. Его догадка тем более вероятна, что ритм явленного противоположен и подчёркнуто замедлен: и кошка, и редкий грохот повозки, проезжающей по улице.

Жёлтая духота остановленного дня, в которую заключён Александр. Овеществлённое время, когда жизнь располагает лишь своей длительностью.

Воздух, где ни одна мысль не в силах родиться, где есть только истязание возможностью.

Александр пытается создать из воздуха скульптуры Ясона или юноши-самоубийцы, но вещество воздуха — не вещество искусства: всё рассыпается.

Александр спрашивает: «Где тот, кто умер?»

И слышит ответ: «Вот. Он совершенное присутствие того, что не имеет черт. Всё говорит о его присутствии именно потому, что его нет нигде. Он небо».

Возможна ли скульптура неба?

Если художник целомудрен и не соблазнен кощунственной праздностью последних вопросов, то она попросту не нужна.

Александр смотрит в зал, словно впервые обнаружив себя на сцене. Обнаружив, что он виден насквозь. Он думает, что занавес — это, возможно, стеснительность сцены, а не её стеснённость, что чем чаще распахивается занавес, тем настойчивей звучит корень этого глагола, тем вероятнее, что стыдливость позволит себе вульгарно пошутить и стать стадивостью. И тогда стройный хор превратится в пьяную оргию. И тогда начнётся нечто непонятное (говоря по-другому: великое искусство) — непонятное, а значит, доступное, и зал ринется на сцену.

Едва ли он так думает. Он отворачивается, не успев так подумать, и вновь пытается что-то создать из воздуха, и сначала годы ярости и бессмысленного труда, века ревности к умершим, к несравненному их преимуществу перед живыми — ведь они не становятся хуже, только хорошеют! — приведут к мысли не только о неоправимости их смерти, но и о неоправимости жизни того, кто лишён возможности диалога с ними, и лишь затем, когда эту несуществующую возможность он сочтёт возможностью их унижить или уничтожить вторично, когда мысленное возвращение их к жизни окажется поводом для их мысленного же уничтожения, тогда-то и начнётся непонятное, кто-то в кулисах пробормочет про бога и дьявола, и зал воистину ринется на сцену.

Чёрная кошка, свернувшаяся клубком. Сплошь солнце. Медленность до полной остановки сердца. Но два последних сердцебиения — — вот.

Ночь. Медея и Александр.

Лишь воображение зала, растравленное попыткой Александра, способно было вернуть Медею. И не просто вернуть. В слезах она

уговаривает своего возлюбленного бежать с ней. Куда и зачем? От кого? Бежать — из жизни.

Всё предсказано матерью  
отца моего. Говорит:  
«Видением я изнутри горю  
жизни твоей, — и травы варит. —

Вижу: один с верёвкой двойной,  
другой — к небу лицом,  
двух ещё уносит волной,  
а последнему поселиться

в сердце твоём суждено, —  
говорит. — Богами освящено:  
вижу вас вместе денно  
и ночью, денно и ночью».

Она видит нерешительность Александра, его страх и непонимание, но в тот момент, когда он говорит «да», исчезает окончательно.

Следом за ней исчезают все, чьё присутствие мы ощущали или слышали.

Звучит хор, под который Александр засыпает:

Смотри, как мы обходимся без мёртвых,  
сказать точнее — без живых,  
с их мерным пульсом теплокровнотвёрдых,  
утраченным в прорехах мировых,

смотри, пока мы сами не исчезли,  
как ход вещей прекрасных груб, —  
скорбь скобяную взять на зуб, на вес ли,  
веслом ли голубую выгнуть глубь,

разрыть ли море, небо ли раздвинуть,  
с изнанки вытрясти ли свет,

из горла многожидной ночи вынуть  
застрявшую в нём кость того, чей след

простыл? — увы. О, суть не в том, что нет их  
и кажется уже, что их  
и не было, но в том, что среди несметных  
дней гаснет память в ропотах своих.

Всё принято. В жестокости ль раздобрясь,  
нам возвращает мир, смотри,  
свою непостижимость, дав как образ  
её, с сердцебиением внутри.

Пустая сцена.



# II. КНИГА АЛЕКСАНДРА

## ПРОЛОГ

Ни о чём не расспрашивай.  
Не заглядывай за  
край. Закрашивай  
холст. Не мучай глаза

бездной. Правды не вытерпишь,  
света. Слезы твои  
ветер вытер. Тишь  
обитанья. Твори,

то есть прячься от ужаса  
видеть мир *до* себя.  
Кто там? Уж, оса  
(рифма, рифма!), – слепя,

та, которую любишь, – там,  
где тебя ещё нет.  
Воплощенью, снам  
страх доверь свой, вослед

Всемогущему: холст и кисть,  
стихотворчество. Крась  
иль разговорись.  
В стих и в живопись страсть

всни. Подобно Творцу. Не мог  
видеть то, что любил,  
не *владея*, Бог.  
Безучастным нет сил

быть. Пчела, георгин, зрачок,  
та, которую стих –  
страха в жизнь толчок:  
надышаться! – настиг.

1

когда из двух углов из двух углов  
друг к другу бросятся  
одежды вороха  
зверь двухголов

когда из двух углов из двух углов  
друг к другу бросятся друг к другу  
одежды вороха обрывки слов  
одежды вороха обрывки слов

когда кричат кричат  
как бы до этого не быв  
изнанкой кожи ознобив  
ночное небо с выводком волчат

как сдёргивают кожуру  
и апельсина эпителий  
тот белый хоботок меж долек в теле  
не помнит выдернутый жизнь жару

так те разлепятся на локоть  
ступню на локоть на ступню  
теперь взгляни безумный сквозь стекло хоть  
ты сотворил их значит знаешь похоть  
на мёртвую свою стряпню

пыль улицы гони гони пыль  
закручивая смерч дворов  
нет ничего естественней чем гибель  
когда из двух углов

2

Яхты, яхты, солнце, как ты тиха —  
тише ночи из ненаписанного стиха,

стружка свежая чайки летит с небес,  
рыбный рынок, серебряный чудный вес,

лет пятнадцати, ночью, в другом краю  
я служил за Лию, сестру твою,

за твою двойницу, нам сад был кров,  
и томление неутолённое злило кровь,

может быть, та скатерть, развёрнутая в ночи,  
свой узор подставила нам, сличи:

лесопильни стружка, и всплески рыб,  
и деревьев мачты, их перескрип —

обернулись солнцем, яхтами и тобой,  
это кровь прихлынувшая, её прибой

и твоя готовность утратить вдруг  
описавшую непорочный круг

жизнь, совпавшую с жизнью здесь,  
чтобы я любил тебя вдвое сильнее, чем весь.

3

Вот гора, вот блик, гора, блик  
солнечный на ней,  
вот кора, вот блик, кораблик  
из игры теней

спущен на море, чуть розов  
разогретый тѣс,  
в паутине мачт и тросов  
паучок-матрос.

А над ним овечий облак,  
за которым сон  
мчит Ясона в край, где облик  
обретает он.

День — мужского рода, день — лишь  
воин, взявший меч,  
тот, с которым шкуру делишь —  
не любовь и речь.

И покуда вѣётся лента  
за кормой волны,  
блещет лёгкая легенда  
икрами войны.

Но кораблик твой затонет.  
Паучка убьют.  
И тревогой сердце тронет  
первородный труд.

День привычно разевает  
пасть ещё, но в нём

зреет ночь и прозревает  
женственным огнём.

Женский род нежней и кротче,  
потому – сильней.  
День причаливает к ночи,  
к гибели своей.

#### 4. ДВЕ ПЕСНИ

*Мужской голос*  
Всё. Чик-трак. Чертог,  
эту хлябь и твердь,  
на амбарный замок  
запирает смерть.

«С» и «м» как «съем»,  
мол, считай до ста,  
«р» и «т» – будешь нем,  
не раззявишь рта.

И спокойно в «е»,  
то есть в скважину,  
ключ вставляет портье  
напомаженный.

В чёрной паре он,  
на руках бельё,  
прядью посеребрён,  
а в глазу бельмо.

«Ад тебе и рай,  
рад тебе и ай,

ай да что за сарай...» —  
он бормочет, знай.

«Постоялец где,  
постоянец твой?» —  
«Он нигде и везде,  
не найдёшь, хоть вой.

Как со всем живым  
совпадёшь хоть раз,  
приходи со своим  
барахлом до нас.

Отопру я на  
человечий лай  
твой, вщущу — и хана.  
А пока — гуляй».

*Женский голос*  
Он приходит, там,  
у стены, сидит,  
мёртв не по годам,  
и за мной следит.

А закрыв глаза,  
вижу: он в гробу,  
где дышать нельзя,  
от губы губу

отлепить нельзя,  
не шатнув толпу.  
Грим блестит на лбу,  
на щеках, на лбу.

Как внутри темно  
камню (но темней),  
так ему темно  
двадцать девять дней.

А идёшь на дно —  
всё, воде видней.  
Камень канет, но  
без кругов по ней —

как во сне. Из двух  
если мёртв один,  
сна двуликий слух  
и спасёт один.

Потому что сон —  
эхо жизни — впрямь  
к смерти обращён,  
и хоть яму ямь.

Потому что сон —  
эхо смерти — вспять  
к жизни обращён.  
Поздно. Время спать.

5

— Двое смотрят на меня детей  
из своих смертей,  
с двух неярких звёзд,  
как птенцы из гнёзд,

двое смотрят на меня детей, детей,  
небо звёздное — испарина смертей,

это Полидевк, а это Кастор,  
это Орион, а там Плеяды, —  
астрономия горящих астр.

О каких ты говоришь страстях,  
ревности-любви ты о какой,  
обезумевший слепой шахтёр с киркой,  
высекающий свой страх?

Он теперь не на *таких* костях —  
остов мира костною мукой,  
мозгом склеен двух детей моих,

о каких ты, о каких,  
оглядись — покой, оглядись — покой,

мёртв Ясон,  
нет ни его, ни их...

.....

Есть две лодки Млечною рекой,  
две плывущих Млечною рекой  
глаз её колхидских, гаснущих  
под её рукой.

6

Закреть лицо рукой, лицо рукой,  
чтоб ты не видела вовеки  
гримасы боли, горя — никакой,  
иль, боже упаси, влажнеющие веки.

Стой как стоишь, ты навсегда ясней:  
ни прошлого, ни будущего всеу —



ни дикого их мяса, ни костей —  
не упомянешь, всем лицом пустуя.

Ещё яснее так: скульптура двух, —  
прямые нити между ними рвутся,  
и камень здесь уместен: гол и сух.  
Окликни их — они не отзовутся.

Лишь гул того, кто призраком томим, —  
он знаков ждёт — но чьих? — богов? комет ли? —  
и тишина, не понятая им.  
Она — ступив, и он — позорно медля.

7

Это, остановленная горем,  
женщина под тенью трёх смертей  
медленно сидит, античным хором  
вторит, вторит вторящее ей.

Нет людей заботливых и страшных,  
отводящих в сторону свой страх,  
ты и сам из комнат умиравших  
уходил, не мешкая в дверях,

и признайся, разве не дышалось  
тем жадней на улице, чем там  
сердце сокрушительнее сжалось.  
Хор оставь деревьям и цветам.

Или попросту стене, поскольку  
хор есть эхо горя, немоты,  
женщины, которая умолкла  
и которой недостойн ты.

И за это ты однажды выйдешь  
в тот же сад, на те же голоса  
и её смеющейся увидишь,  
пьяненькой, забывшей всё и вся.

8

Если свет, доходящий с неба, —  
свет погасших и прошлых звёзд,  
то для них мы — будущее, и встречно-слепо  
в грозном зигзаге зелёном лета  
горсть осызает гроздь.

Чуть запаздывая, не попевая  
за световым лучом...  
Только нежность аэда слепая,  
сквозь черты его проступая,  
сплошь продрогнута дорогим лицом.

И когда творится любовь двоими,  
то её забвенья сродни  
устранению времени с его мнимым,  
обращённым вспять, — и вперёд гонимым  
и реальным ходом, чтобы слились они

на мгновенье. Но если это исчезнет,  
называемое «ты» и «я»,  
пропадёт совсем, никогда не воскреснет,  
если даже небо не вздрогнет и не надтреснет,  
то Господь безумен, радость моя.

## 9. ЭВРИДИКА

Она оборачивается и думает: «Если он  
увидит преследующие меня тени

любимых, которыми населён  
Аид...» Обращивается к новой теме.

«Увидит, что вполоборота иду,  
что предана мёртвым, что большего чуда,  
чем с ними остаться... Он не осилит ту,  
предписанную ему, и рванёт отсюда».

Тогда он сбавляет шаг, ощутив спиной,  
спиной, и затылком, и целиком — всю тяжесть  
тоскливую. Она говорит: «Родной» —  
кому-то, и он обращивается, отважась.

## 10. МЕДЕЯ

Если б море могло заменить в себе  
«м» на «г», то оно бы стало тобой.  
«М», подобное верхней детской губе,  
на песке нежнее, смысл приборой.  
Небо, небо ночное, плащом темноты убей  
моря гул голубой.

Если б горе «е» заменило на «а»,  
то оно бы стало тем, что ты есть, —  
молчаливым криком, когда слова  
стеснены, как камни, в недвижный вес,  
но, срастаясь тяжестью естества  
с почвой, высят весть.

И когда ночнеет, углы углят,  
это значит, что, свет изрыв,  
потемнел, чтоб рыскать в потёмках, взгляд,

там, где не был он ещё, и прилив  
плачу, плачу колеблем в лад,  
и когда, не забыв

ни на миг исчезающие голоса,  
ты молитву шепчешь: «Верни, верни!» –  
расцепляя сдавленных слов веса, –  
вот тогда рождают Бога они  
и на небе младенческих лиц роса  
зажигает огни.

## II. АЛЕКСАНДР – МЕДЕЕ (1)

Как ты врезана в воздух – не отвести  
глаз: подобно лучу стоишь  
явной плоти, и надо сказать «прости» –  
ведь не тень идёт от тебя, но тишь,

и спугнуть собою её нельзя;  
потому что ревность, как злая рябь,  
набегает, прошлому твоему грозя,  
говорит: забвеньем его ограбь.

Если ж нет – то пусть из небытия  
вновь умрёт оно, сгинет из темноты,  
светом взорванной, здешней, где «ты и я»  
не отличны, слившись, от «я и ты».

Пусть вторично пепел сторит и лёд  
мёртвых недр вдвойне охладает в них,  
пусть любовным криком твоим зальёт  
дыры раковин, рытвин его ушных.

## 12. АЛЕКСАНДР – МЕДЕЕ (2)

Крик, встречный крик твоей любви,  
Ясону встречный,  
и есть мой ад, в моей крови  
продолженный, Медея, вечный.

Мгновение с тобой, Медея,  
горячка, ярость, —  
месть прошлому. Но, не владея  
им, признаю свою бездарность.

Тому, кого там нет, чей длится  
любовный крик, —  
рот не зажмёшь.  
Ясон твой мёртв. Но он проник  
в тебя, чтобы в тебя пролиться, —  
навек. Сплюшь.

Подсматриванье — униженье.  
Позорных глаз  
подзорный ужас  
двух тел нежноющих неженье  
увидит. Вас.  
Убьёт и воссоздаст, разрушась  
и озарясь.

Я, жрец и жертвенник, враг сводный  
себе, сойдя  
с ума от жертв  
(кто мне судья?  
Слепой бог ревности),

да будет, говорю, Ясон твой  
не мёртв, но мертв.

Так в слове выколоты очи.  
Так в небе замер  
их свет двойной. Так без конца  
явь сдёргивает тряпку ночи  
и обнажает белый мрамор  
лица, лица.

.....

Мы встретились с тобой за гранью  
возможного. Но всё, что есть,  
нельзя ни отменить заранее,  
ни предпочесть.

## ЭПИЛОГ

Успокойся, это море, не сошедшее с ума,  
свет и тишь в полночном взоре, это истина сама.

Успокойся, мой хороший, мой любимый, мой родной,  
росчерк молнии над рощей нас обходит стороной.

О любви поют неверно, чувства – суть невелики,  
потому что не безмерны и от правды далеки.

А безмерное бесстрастно. Как младенец. Над волной  
замирают и не гаснут вёсла музыкой двойной.

Это значит, остановлен мужа гордого поход.  
Кровля-кровь. Не обескровлен, человек-тростник поёт.

Не испытывай ни силой, ни любовью существо.  
Чувство жалостливо, милый, — не испытывай его.

Гул морской, покуда клонит в сон тебя, к до-бытию,  
белой ракушкой спелёнут в колыбельную твою.

С просторечием простора слух сплошной не разлучай.  
Успокойся. Мир не скоро. Спи, себя не различай.

### III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Миф, на основе которого появились на горизонте 1-я и 2-я части этого сочинения, впоследствии приобрёл новые очертания, порой противоречивые и гротескные, оброс ракушками подробностей, не всегда пристойных и обязательных, и т.д. и т.п.

Нам казалось опрометчивым дать всё, чем мы располагаем, в главном корпусе книги, равно как и недопустимым не привести эти экзотичные свидетельства вовсе, хотя бы в Приложениях.

Нам также казалось, что ссылки на источники не только затруднят чтение, но и вызовут естественное недоверие читателя, поскольку современный мир набит псевдонимами, фикциями и розыгрышами, как дурак.

Все использованные источники, которые условно можно разделить на три категории: а) «скульптурная», в) «музыкальная» и с) «литературная», — относятся к разному времени, но одинаково отравлены пародийной интерпретацией мифа, снижающей его пафос, и омрачены трактовкой, на наш взгляд, враждебной всему «колхидскому» (хотя и не лишённой оснований). Именно сходная направленность и позволила расположить этот материал по соседству.

Согласно преданию, брат колхидского царя Ээта в опьянении убил девушку из соседнего царства. Ему удалось избежать наказания, но отныне бессмертие царя было поставлено в зависимость от искупительной жертвы: таковой, предсказал оракул, должны стать двое мальчиков-близнецов, рождённых Медеей от странствующего героя, плывущего в Колхиду за золотым руном.

Таким образом, ни похищения руна, ни бегства Медеи и Ясона не было. Наоборот, Ээт уговорил соблазнённого Ясона взять Медею с собой, да ещё и приплатил ему бараньей шкурой.

Была и земная, более понятная нам жажда бессмертия, связанная со славой Ясона-поэта. Для Медеи, и без того, конечно, одержимой любовью к отцу, это всё же явилось вдохновенным и счастливым подспорьем в её путешествии в Грецию. Идия следует за дочерью, а после того, как весть о сбывшихся предсказаниях оракула достигает берегов Колхиды, к ним присоединяется Ээт.



В представлении греков «колхидская семья» несла порок и разрушение, потому каждый её член наделён какими-то отталкивающими чертами. Так, неоднократно встречаются упоминания о «волосатых ногах» Медеи, «чёрных зубах» Индии или «лишайных ладонях» Ээта.

## А)

Известны скульптуры «Ээт онанирующий», «Ээт предаётся разврату с женой и дочерью на туше убитого быка» и «Ээт, изобретающий колесо» (со скрещёнными за головой голеньями он сосёт свой хвост).

И наконец, дошедшая до нас группа из шести скульптур, окружавших фонтан. Каждая скульптура изображает определённую позу, в которой запечатлён Ээт с гетерой, и под каждой выбито восемь строк, которые иногда приписывают Ясону.

Его авторство вполне вероятно, если учесть, что сохранились строки: «Что ты знал, Ясон, кроме гребли, кроме рифмы к ней...»

### 1

Небулы прижаться животом  
к животу, и бёдра в бёдра,  
и передним в её недрах хвостом,  
разыгравшимся, повливать бодро.

Если я забыться, Небула,  
и хочу, то канув не в Лету...  
Ненасытная, о, как ты прильнула,  
даже имя и то твоё раздето!

### 2

Как у лошади, бока твои круты,  
на коленях ты стоишь, Небула,  
и вопишь, теперь знаешь, кому ты,  
пышнобёдрая, себя распахнула.

О, вовек не быть наезднику сытым,  
хлопья розовой роняя пены,  
бей, пегасиха, страстным копытом, —  
я струёй в тебя брызну Ипокрены!

3

Не сравнятся с Небулой хариты,  
когда флейта к её устам разжатым  
льнёт, меж Сциллою её и Харибдой  
проплываю Одиссеем волосатым.

Что, смеёшься? К вожделенному краю  
вместе ночью пришвартуемся бурной,  
я тебе, Небула, подыграю  
на губной гармонике пурпурной!

4

Небула в прозрачном стоит белье:  
«А попробуй силой меня возьми!» —  
вырывается, но, схваченная, уж на столе,  
на лопатках, разгорячённая от возни,

пробиваю шёлковое что-то рывком,  
то придвину ближе её, то отодвину — как  
трётся в тряпках небесных великолепный гром,  
о, родная молния, всё остальное мрак.

5

Или торса ствол, обхватив, когтишь:  
«Глубже! Глубже!» — просишь, икрами его сжав,

и качками вгоняешь меня в глубяную тишь,  
оглашённую ливнем, — о, рыжих влажненье трав,

поднимаю узкие я твои ступни,  
и кладу на плечи их, и насквозь, насквозь  
прохожу, горячую, о, стони, стони,  
сжав губами теми и этими, и, выплеснутого, отбрось.

6

Как я драл тебя, розовая моя коза,  
как ты бляела: «О, наполни вулканом рот!» —  
и с горячей лавой твоя слеза  
и слюна мешались, содрогался Эрот,

в пять иль шесть приёмов затмение шло,  
и на склонах слабнущих остывал вулкан,  
пор молочным паром твоё тепло  
к потолку всходило, как за окном туман.

В)

«Семейные песни Колхиды» — куда более поздний и куда менее достоверный памятник. Обнаружен он был несколько лет назад, и если вокальная нотация, сопутствующая текстам, говорит о его подлинности, то лексика, конечно, модернизирована и подстроена к современности.

1

То ли это совесть хнычет,  
то ли память милость клянчит,  
то ли хрыч мычит и хрычит,  
девку алчет.

О, в логове копошится,  
о, зверь человеческий,  
о, хочет всем туловищем нажиться,  
о, плачет, двухлечий.

То ли змей измены жалит,  
то ли червь боязни точит,  
то ли хрыч по дому шарит —  
водки хочет.

Жену ли свести ли с ума ли,  
«ничтожество!» крикнуть  
в пространство, душа моя, тебя смяли,  
от жизни отвыкнуть.

То ли стнил несущий остов,  
то ли мозг размызг, размямлен,  
то ли хрыч в себя, как в остров  
гиблый, вмямлен.

О, на три запора закрыться,  
и что-нибудь щупать  
стенающее, и где-нибудь рыться,  
и в чём-нибудь хлопать.

То ли дочь меня жалеет,  
то ли сын с порога гонит,  
то ли ночь вконец шалеет,  
шавка тонет.

«На кой ты сдалась мне, — в пустоты  
прокрикнет, — на кой вся?..»

.....

Что было, о грустное существо ты,  
с тобой? Успокойся.

Песенку бубнит придурковатая,  
голова болит продолговатая.

— Где ты так сошла с ума?

— Я-то? — Ты-то. — Я-то? — Ты-то. — Я-то? Я  
не знаю сама.

— Слушай, слушай, входит папа в комнату,  
в тёмную такую, смотрит томно в ту  
сторону, где я лежу,  
на себя гляжу я, папой обняту,  
и в страхе дрожу.

— Что ты тут такое, папа, делаешь  
с девою, со мной? Ты, папа, деву ешь.

Жадно бедненький сопит:

— Ты мне, — отвечает, — только тело нежь.  
Засыпает, сыт.

Дурочка гундосит свою песенку,  
песенку свою гундосит плесенку,  
в сумке роется, со дна  
достаёт цветную бесполезинку —  
красится, бледна.

— Слушай, слушай, женихов невиданно  
мама нагнала, ведь я на выданье,  
а она, ворожея,  
всё колдует, чтобы выдать выгодней,  
сама не своя.

— И загадку жениху, мол, кто, мол, та,  
что жена и дочь отцу, — и молодо

нам подмигивает так, —  
а не отгадаешь, мол, размолота  
твоя жисть, дурак.

К рюмке с ядовитым зельем тянется,  
а в глазах гуляет-пляшет пьянь отца.  
— Где ты так сошла с ума  
и какой танцуешь танец? — Танец? Я  
не знаю сама.

— Сколько полегло их, невозлюбленных,  
мамою и папою погубленных, —  
расчленят и жгут в печи,  
жалко их, зарубленных-обугленных  
в золотой ночи.

— В золотой, да с пятернями-звёздами  
на стекле, да с пауками, гроздьями  
виснущими со стены,  
а потом втроём танцуем — гости мы  
как бы сатаны.

Песенку бубнит придурковатая,  
голова болит продолговатая.  
— Где ты так сошла с ума?  
— Я-то? — Ты-то. — Я-то? — Ты-то. — Я-то? Я  
не знаю сама.

С)

«Литературное» свидетельство относят иногда к «Книге Александра», хотя написано оно явно позже. Это окончательное разоблачение мифа.

Медея предстаёт обыкновенной проституткой, которая день и ночь просиживает в питейных заведениях и привлекает к себе мужчин рассказами и песнями о Ясоне, его безмерной любви к ней и о трагической судьбе их детей.

Между тем никаких трагедий не было. По наущению Идии, колдуньи, пытавшейся во что бы то ни стало уверить Ээта в обрётённом им вновь бессмертии, а дочь — в несуществующем прошлом, Медея придумала своих сыновей и там же, в воображении, погубила.

## 1. ПОРТРЕТ

Утопленница ты своих страстей,  
то пленница, то вопленица их,  
растленное, придонное растение —  
с колхидской ночью проклятой в зеницах.

Когда твоё нутро морские звёзды  
жгут ревностью, шипя в кишках, и горлом,  
как риф коралловый, растут угрозы,  
ты вырыта в себя глубоким кряжем горным.

Колеблемы, как мёртвые сады,  
в тебе пошатываются полумысли  
двумерные и вдруг, как электрические скаты,  
сверкают в третьем измеренье, в слизи,

и ты, распутница, из водорослей вырвав  
себя, над толщею воды стряхнув сомненья,  
когтишь своих страстей и нервов  
комков, из собственной взлетае тени.

## 2. ПРОКЛЯТИЕ

«Ох!» говорила, и наворачивалась слеза,  
в траур одетая, в жадной тоске по утратам  
днём, но раздетая к вечеру наголо за  
деньги, чтоб сытились, чавкая мясом и виноградом,  
дэдиго с мамико, дочь запродавшие, вейся, лоза  
ложная, воздух своим напоившая ядом.

Стольких юнцов ты, бросив, свела с ума,  
стольким в любви поклялась, что вошло в обычай  
самоубийство у них. О, замученных закрома!  
О, погрёба удавившихся! «Ах!» – говорила, тыча  
в небо. – Поэзия!» – и наступала тьма,  
поутру же возвращалась в семью с добычей.

Песни на краденый сочиняла мотив,  
по-воровски обнюхивала бессмертье, –  
с тем и явился Ясон, чтоб, его совратив,  
мифом прикинулась ты. Но осталась смердюю,  
выдумав и уничтожив детей, не родив.  
Ты, и не снившаяся античному жестокосердюю,

ты, приторговывающая из-под полы  
прошлым, которого не было, в этом аде,  
где они якобы и погибли, – черней смолы  
воображенье, себя пожирающее в досаде! –  
там и пребудь навсегда, где проваливаются полы  
псевдотрагической сцены и плачут бляди.

Пусть паутиной виснущие со стен пауки  
мозг твой обволокут, в беспробудный упрячут кокон,  
чтобы, как муха (чьи лапки – тки пряжу, тки! –  
так же снуют, как мысли твои), усох он, –  
подлости мёртвые петли или коварства витки,  
всё, чем оболган тобою мир, но сперва обохан.



### 3. ИЗ «КОМЕДИИ»

«Меня любил Ясон, он был тогда  
такой поэт, что, если видел небо,  
оно, залившись краскою стыда  
за то, что от него скрывало немо  
Вселенную (он видел мир насквозь!),  
могло завечереть, чтоб расплатиться  
поспешно чистою монетой звёзд.

И если мимо пролетала птица,  
она, свою возможность превзойдя,  
как стих, сложив крыла и приходя  
в себя, могла на миг остановиться  
в полёте, в небе, став его зрачком,  
утратив суть свою и обретая  
её вдвойне, чтоб не упасть ничком.

И если б все утопшие, рыдая,  
могли расколыхнуть морское дно  
и слить свои рыдания в одно,  
чтоб дотянуться до земного рая, —  
то не было бы в том такой тоски,  
с какой Ясона взгляд впивался в море,  
где тут же мачт всходили колоски.

Я родила ему, себе на горе,  
двоих детей, прелестных близнецов.  
Слеза ничтожна и, в конце концов,  
туманит взор. Они погибли вскоре.  
Кто повелел окаменев сидеть?  
Свидетельница трёх смертей, не крашу  
волос: я запретила им сесть».

И, пышного вранья оставив чашу,  
она повествованье прервала.  
И я спросил: «Зачем ты солгала,  
так обесчестив миф и встречу нашу?»  
«Не смей! — она мне крикнула. — Не смей!» —  
и, втапывая в грязь воображеньем  
себя за всё недоданное ей,

рассыпалась с последним предложеньем.

*2001 г.*

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

## ФРАГМЕНТЫ РОМАНА «ТАМ НА НЕБЕ ДОМ»

### ИЗ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

«Тот город, по которому бродил...» . . . . .	4
«Начнём с двора. Мы тоже из дворян...» . . . . .	5
«Колодец детства есть колодец слёз...» . . . . .	6
«Как слово «бытие» заострено...» . . . . .	7
«В вечерних сумерках декабрьский сад...» . . . . .	8
«Рояль кормил полуденную лень...» . . . . .	9
«Благословенье дому. Вопреки...» . . . . .	10
«Благословенье дому и семье...» . . . . .	11
«Предновогодний ёлочный базар...» . . . . .	12
«Домой, домой, рождаясь на лету...» . . . . .	13
«Смесь запахов, языческий разгул...» . . . . .	14
«Особенная область — рыба фиш...» . . . . .	15
«В лесу родилась ёлочка, в лесу...» . . . . .	16
«Вот комната. Вот в ней мурлычет март...» . . . . .	17
«Но этот трепет вровень со флажком...» . . . . .	18
«Пушнина вербы. Медленный нагрев...» . . . . .	19
«...Пора на дачу. Где она снята?...» . . . . .	20
«...Представьте себе утро, всю в свету...» . . . . .	21
«Вечерний час, оваянный теплом...» . . . . .	22
«Как хорошо в посёлке по ночам!..» . . . . .	23
«Я возвращаюсь в город. Для того...» . . . . .	24

### ИЗ ВТОРОЙ ГЛАВЫ

«Я вижу коммунальный коридор...» . . . . .	25
«То был Лицей. Тогда ещё росли...» . . . . .	26
«Дитя было задумчиво. Окно...» . . . . .	27
«Но внешний мир ей не был дан как мир...» . . . . .	28
«Она любила раннюю весну...» . . . . .	29
«Дыханье лестниц каменное, мрак...» . . . . .	30
«Случается, какой-нибудь листок...» . . . . .	31
«Быть может, одиночества часы...» . . . . .	32
«...особенно в ту пору...» . . . . .	33
«Скорее в декабре, чем в ноябре...» . . . . .	34
«...Но вот блеснёт змеиным телом ртуть...» . . . . .	35
«Пока ты втянут в огненный процесс...» . . . . .	36
«...в один из дней болезни, ввечеру...» . . . . .	37
«И всё, и всё. Хотя жаль, но это так...» . . . . .	38

### ИЗ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

«Сгребают листья. Бурые знобят...» . . . . .	39
«Я наблюдаю ход древесных лав...» . . . . .	40

«Стакан гранёный с точкою на нём...» . . . . .	41
«Как до отказа тесный апельсин...» . . . . .	42
«К скрипучей спинке стула прислонясь...» . . . . .	43
«Едва потёмкам вещь себя вручит...» . . . . .	44
«Сгребают листья. Холодом реки...» . . . . .	45
«Что связывает с миром, кроме тех...» . . . . .	46
«Сгребают листья. Осень. Проходным...» . . . . .	47
«Светаёт. На работу. Быстрый штрих...» . . . . .	48
«Светаёт. И пока слепит рельеф...» . . . . .	49
«Совсем светло. В зрачки уходит парк...» . . . . .	50
«Но есть среди подробностей живых...» . . . . .	51

## ИЗ ШЕСТОЙ ГЛАВЫ

«Тот город, по которому бродил...» . . . . .	52
«Уже поблекло солнце. Легкий день...» . . . . .	53
«Всё то, что там не сказано, теперь...» . . . . .	54
«Абсурда нет. Есть только абсурдист...» . . . . .	55
«Она сказала: «Помните приход...» . . . . .	56
«Сплошная неотступность этих дум...» . . . . .	57
«Всё только жертв незримых череда...» . . . . .	58
«Вся жизнь не дольше мысли о тебе...» . . . . .	59
«Есть несколько прекрасных мест, одно...» . . . . .	60
«Как жизнь в стихах, так явь мои и сон...» . . . . .	61
«Ночные дорассветные часы...» . . . . .	62
«Есть средство безупречное, оно...» . . . . .	63
«Не вмешиваться в жизнь того, кто так...» . . . . .	64
«Предметы мира столь освещены...» . . . . .	65
«Черты запечатлённого лица...» . . . . .	66
«Так он писал. Поэт и есть поэт...» . . . . .	67

## КОРОЛЬ ЛИР

Пролог . . . . .	70
Первый акт . . . . .	72
Антракт 1 . . . . .	77
Второй акт . . . . .	78
Антракт 2 . . . . .	83
Третий акт . . . . .	84
Эпилог . . . . .	91
Занавес . . . . .	92

## МИФ

I. Ремарка к нескольким картинам . . . . .	96
II. Книга Александра . . . . .	112
III. Приложения . . . . .	127

~~~~~  
Владимир Гандельсман  
ФРАГМЕНТЫ РОМАНА / КОРОЛЬ ЛИР / МИФ

Дизайн и вёрстка: Дмитрий Макаровский

Художник обложки: Александр Прокофьев

Печать цифровая. Тираж 200 экз. Заказ №

